

# Вестник Российского фонда фундаментальных исследований

№ 1 (105) январь–март 2020 года

**Основан в 1994 году**

Зарегистрирован Комитетом РФ по печати, рег. № 012620 от 03.06.1994

Сетевая версия зарегистрирована Роскомнадзором, рег. № ФС77-61404 от 10.04.2015

**Учредитель**

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Российский фонд фундаментальных исследований»

Главный редактор В.Я. Панченко,  
заместители главного редактора В.В. Квардаков и В.Н. Фридлянов

**Редакционная коллегия:**

В.П. Анаников, В.Б. Бетелин, К.Е. Дегтярев, И.Л. Еременко,  
В.П. Кандидов, П.К. Кашкаров, В.П. Матвеев, Е.И. Моисеев,  
А.С. Сигов, В.А. Ткачук, Р.В. Петров, И.Б. Федоров, Д.Р. Хохлов

**Редакция:**

Е.Б. Дубкова, И.А. Мосичева

**Адрес редакции:**

119334, г. Москва, Ленинский проспект, 32а

Тел.: (499) 995-16-05

e-mail: [pressa@rfbr.ru](mailto:pressa@rfbr.ru)





# Russian Foundation for Basic Research Journal

N 1 (105) January–March 2020

## **Founded in 1994**

Registered by the Committee of the Russian Federation for Printed Media, 012620 of 03.06.1994 (print)

Registered by the Roskommadzor FS77-61404 of 10.04.2015 (online)

## **The Founder**

**Federal State Institution**

**“Russian Foundation for Basic Research”**

Editor-in-Chief V. Panchenko,

Deputy chief editors V. Kvardakov and V. Fridlyanov

## **Editorial Board:**

V. Ananikov, V. Betelin, K. Degtyarev, I. Eremenko,  
V. Kandidov, P. Kashkarov, V. Matveenko, E. Moiseev,  
A. Sigov, V. Tkachuk, R. Petrov, I. Fedorov, D. Khokhlov

## **Editorial staff:**

E. Dubkova, I. Mosicheva

## **Editorial address:**

32a, Leninskiy Ave., Moscow, 119334, Russia

Tel.: (499) 995-16-05

e-mail: [pressa@rfbr.ru](mailto:pressa@rfbr.ru)

# «Вестник РФФИ»

## № 1 (105) январь–март 2020

Предисловие .....	8
<i>М.Е. Швидкой</i>	
Предисловие .....	9
<i>Э. Томпсон</i>	
Предисловие .....	10
<i>А.В. Торкунов</i>	
Предисловие .....	11
<i>А.О. Чубарьян</i>	
Предисловие .....	13
<i>В.Я. Панченко</i>	

### ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: РОССИЯ И БРИТАНИЯ: ДИАЛОГ ОБ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРАХ И ИДЕНТИЧНОСТЯХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ И БРИТАНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, 1800–2000 ГОДА», 14–15 МАРТА, 2019, МОСКВА	
Темы и тенденции новейшей историографии по истории империй. ....	15
<i>В.С. Мирзеханов</i>	
Метрополия и периферия: имперские связи Британии Нового времени. ....	18
<i>М.П. Айзенштат</i>	
Столпы империи и британское постколониальное влияние .....	21
<i>С. Стоквелл</i>	
Британия в поисках новой роли: неоимперский и глобальный проекты тори в свете Брекзита. ....	24
<i>Н.К. Капитонова</i>	
Наука, империя и глобальные экологические вызовы XX века. ....	28
<i>Д. Олдфилд</i>	
Советский Союз: неудавшаяся империя или государство наций. ....	30
<i>А.К. Сорокин</i>	
Империя в восприятии российских и британских интеллектуалов в период Восточного кризиса 70-х гг. XIX века. ....	36
<i>Т.Н. Гелла</i>	
Научные исследования в трехсотлетней истории Королевского общества до 1960 г.: международные, универсальные и индуктивные методы. ....	39
<i>Т. Бун</i>	
Холодная война в экспозициях музеев: использование музейных коллекций, отражающих историю XX века. ....	43
<i>С. Альберти</i>	
Социокультурные вызовы XX – XXI веков и научная дипломатия .....	46
<i>В.И. Заботкина</i>	
Влияние английской общественной мысли на складывание нового критического дискурса в России конца XVIII – начала XIX в. ....	49
<i>И.П. Кулакова</i>	
Британское присутствие на Кавказе и происхождение Крымской войны (черноморский фланг «большой игры») .....	53
<i>В.В. Дегоев</i>	
Империя и модернизация: Россия до 1917 года .....	56
<i>П. Уолдрон</i>	
История формирования индийской диаспоры и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику Великобритании и Индии .....	59
<i>Л.В. Кулик</i>	
Политика Российской империи в отношении местного населения Центральной Азии .....	63
<i>Е.М. Кожокин</i>	

# «Вестник РФФИ»

## № 1 (105) январь-март 2020

СЕМИНАР «БРИТАНСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, 1800–2000 ГОДА», 21–22 ОКТЯБРЯ, 2019, ЛОНДОН	
Историческое прошлое и проблемы идентичности России и Великобритании . . . . .	68
<i>А.О. Чубарьян</i>	
Охранительство русскости: культурное предпринимательство и переговоры об идентичности в русскофонных сообществах Великобритании . . . . .	70
<i>Л. Рязанова-Кларк</i>	
Язык и идентичность: изменения в русскоязычной и англоязычной картинах мира . . . . .	72
<i>В.И. Заботкина</i>	
Воля народа: прямая и представительная демократия в русском воображении с 1844 года до наших дней . . . . .	76
<i>С. Ловелл</i>	
О самосознании подданных Российской империи (XVIII – первая половина XIX века) . . . . .	79
<i>Е.М. Кожокин</i>	
Великое посольство Петра I: европейский опыт и национальная идентичность . . . . .	83
<i>О.В. Дмитриева</i>	
Русские коллекции в Британской библиотеке как информационный ресурс и культурный опыт: прошлое, настоящее, будущее . . . . .	86
<i>Е. Рогачевская</i>	
Миссия современного архива: доктор исторической памяти или похороны актуального прошлого . . . . .	88
<i>А.К. Сорокин</i>	
Что такое наследие? Британские и русские вопросы и ответы . . . . .	93
<i>К. Келли</i>	
Британский музей и Государственный Эрмитаж: сотрудничество, выставки, исследования . . . . .	95
<i>С.Д. Симпсон</i>	
Идентичность английских малых городов в Средние века и раннее Новое время . . . . .	98
<i>А.А. Анисимова</i>	
Культурный «маскарад»: остров сокровищ и социалистический реалистический канон . . . . .	101
<i>С. Хатчингс</i>	
Конструирование истории и истории литературы: музейный ресурс . . . . .	103
<i>Д.П. Бак</i>	
Толстой и толстовцы в Британии и России . . . . .	107
<i>Ш. Алстон</i>	
КРАТКИЙ ФОТООТЧЕТ О ВСТРЕЧАХ РФФИ – ИСИГН . . . . .	111

**"RFBR JOURNAL"****№ 1 (105) January-March 2020**

Foreword .....	8
<i>M.E. Shvydkoy</i>	
Foreword .....	9
<i>A. Thompson</i>	
Foreword .....	10
<i>A.V. Torkunov</i>	
Foreword .....	11
<i>A.O. Choubarian</i>	
Foreword .....	13
<i>V.Ya. Panchenko</i>	

**THEMED SECTION: RUSSIA AND BRITAIN:  
DIALOGUE ON HISTORY, CULTURES AND IDENTITIES**

ROUND TABLE "RUSSIA AND BRITAIN IN COMPARATIVE PERSPECTIVE C. 1800-2000", 14-15 MARCH, 2019, MOSCOW	
Concepts "Empire – Nation" and "Centre – Periphery" in Imperial Studies. ....	15
<i>V.S. Mirzekhanov</i>	
The Metropolis and the Periphery: Britain's Imperial Links during the New Time .....	18
<i>M.P. Ayzenshtat</i>	
Tendons of Empire and British Post-Colonial Influence .....	21
<i>S. Stockwell</i>	
In Search of a New Role: Neo-Imperial and Global Britain Tory Projects in the Light of Brexit .....	24
<i>N.K. Kapitonova</i>	
Science, Empire & Global Environmental Challenges in the Twentieth Century. ....	28
<i>J. Oldfield</i>	
Soviet Union – Failed Empire or State of Nations .....	30
<i>A.K. Sorokin</i>	
Empire in the Perception of Russian and British Intellectuals during the Eastern Crisis in the 1870's. ....	36
<i>T.N. Gella</i>	
Science at the Royal Society's Tercentenary, 1960: International, Universal, Inductive. ....	39
<i>T. Boon</i>	
The Cold War in Museums: Using Artefacts to Tell Twentieth-Century History .....	43
<i>S. JMM Alberti</i>	
Sociocultural Challenges of the 20 <sup>th</sup> -21 <sup>st</sup> Centuries and Science Diplomacy .....	46
<i>V.I. Zobotkina</i>	
The Influence of English Social Thought on the Formation of a New Critical Discourse in Russia of the Late 18 <sup>th</sup> and Early 19 <sup>th</sup> Century .....	49
<i>I.P. Kulakova</i>	
British Presence in the Caucasus and the Origins of the Crimean War (the Black Sea Extension of the Great Game) .....	53
<i>V.V. Degoev</i>	
Empire and Modernization: Russia before 1917 .....	56
<i>P. Waldron</i>	
The History of the Indian Diaspora Formation and Its Impact on the Domestic and Foreign Policies of Great Britain and India .....	59
<i>L.V. Kulik</i>	
Russian Empire's Policy towards Local Muslim Population in the Central Asia .....	63
<i>E.M. Kozhokin</i>	

# "RFBR JOURNAL"

## № 1 (105) January-March 2020

WORKSHOP "BRITISH AND RUSSIAN IDENTITIES AND CULTURES IN A COMPARATIVE AND CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE C. 1800-2000", 21–22 OCTOBER, 2019, LONDON

Historical Past and Identity Issues in Russia and Great Britain. . . . . 68  
*A.O. Choubarian*

Gatekeeping Russianness: Cultural Entrepreneurship and Identity Negotiation in the UK's Russophone Communities . . . . . 70  
*L. Ryazanova-Clarke*

Language and Identity: Changes in Russian and English Linguistic World Views. . . . . 72  
*V.I. Zobotkina*

The People's Will: Direct and Representative Democracy in the Russian Imagination, 1844 to the Present . . . . . 76  
*S. Lovell*

On the Self-Awareness of Subjects of the Russian Empire (XVIII – the First Half of the XIX Century) . . . . . 79  
*E.M. Kozhokin*

The Grand Embassy of Peter the First: European Experience and National Identity. . . . . 83  
*O.V. Dmitrieva*

Russian Collections at the British Library as Information Resource and Cultural Experience: Past, Present, Future. . . . . 86  
*E. Rogatchevskaia*

Mission of the Modern Archive: Doctor of Historical Memory or Funeral of the Actual Past? . . . . . 88  
*A.K. Sorokin*

What is Heritage? British and Russian Questions and Answers . . . . . 93  
*C. Kelly*

The British Museum and the State Hermitage Museum: Collaboration, Exhibitions, Research . . . . . 95  
*St J. Simpson*

Identity of Small Towns in Medieval and Early Modern England. . . . . 98  
*A.A. Anisimova*

Cultural Cross-Dressings: Treasure Island and the Socialist Realist Canon . . . . . 101  
*S. Hutchings*

Constructing History and History of Literature: Museum as a Resource . . . . . 103  
*D.P. Bak*

Tolstoy and Tolstoyans in Britain and Russia . . . . . 107  
*C. Alston*

BRIEF PHOTO REPORT ON THE RFBR – AHRC MEETINGS . . . . . 111



## Предисловие Foreword



Россия и Великобритания – страны с богатейшей и самобытной культурой. Они связаны давней историей.

Наши государства переживали разные периоды взаимных отношений – мы были и близкими союзниками, были и непримиримыми соперниками. Но главное – во все, даже самые сложные, времена существовало неподдельное стремление лучше изучить друг друга.

Не будет преувеличением сказать, что для многих миллионов россиян британская культура была и остается одной из наиболее любимых. Достаточно сказать, что У. Шекспир – самый часто ставящийся зарубежный драматург в российских театрах, а популярность английских (в широком понимании) писателей, художников, актеров и многих других деятелей культуры поистине безмерна. То же относится и к великим российским писателям, композиторам, художникам, творчеством которых продолжает восхищаться не одно поколение британцев.

Ярким свидетельством этой глубинной тяги друг к другу является регулярное проведение тематических российско-британских «перекрестных» годов, которые неизменно вызывают повышенный интерес. Последним примером является успешное проведение «перекрестного» Года музыки.

Уверен, что рано или поздно этот взаимный интерес придаст новый импульс российско-британскому взаимодействию в других сферах и сделает его более тесным и доверительным.

*Михаил Ефимович Швыдкой  
Специальный представитель Президента Российской Федерации  
по международному культурному сотрудничеству*

*Mikhail E. Shvydkoy  
Special Envoy of the President of the Russian Federation  
for international cooperation in culture*



## Предисловие Foreword



The Arts and Humanities Research Council, part of the UK Research and Innovation, is a major funding organisation of arts and humanities research with a strong global outreach. I am very pleased that our bilateral international partnerships now include collaboration with the Russian Foundation for Basic Research. Our countries have longstanding traditions in world class research in arts and humanities disciplines and I strongly believe that jointly our two organisations will make a significant contribution to fostering research dialogue between the UK and Russia.

Over the past year we have signed a Memorandum of Understanding setting out the main principles for our collaboration. We have also taken major practical steps through organising two workshops in Moscow and London, titled “Russia and Britain in Comparative Perspective c. 1800–2000” and “British and Russian Identities and Cultures in a Comparative and Cross-Cultural Perspective c. 1800–2000” respectively. These workshops brought together leading experts in their fields of research. They provided a platform for an open exchange of views and ideas, all in all representing a unique opportunity to build links across our two Countries between researchers from the universities and cultural heritage organisations.

This publication presents a summary of presentations discussed at the two workshops. Included summaries address questions related to key concepts of identities, heritage, history and its representation, legacies of empire, social, cultural and political representation to mention a few. I very much hope that readers will find this publication interesting and thought provoking.

Finally, I would like to personally thank Academician Vladislav Yakovlevich Panchenko, Chair of the Russian Foundation for Basic Research, for his leading role in our collaboration and ensuring it has such a successful start. I look forward to its continuation.

*Professor Andrew Thompson  
Executive Chair Arts and Humanities Research Council  
UK Research and Innovation*

*Профессор Эндрю Томпсон  
Исполнительный директор Исследовательского совета  
по искусству и гуманитарным наукам,  
Британский фонд исследований и инноваций*

## Предисловие Foreword



В нашей совместной истории было много оптимистических и вдохновляющих моментов. Потребность во взаимопонимании породила обстоятельное рассмотрение исторических ситуаций, в которых Российская и Британская империи, что называется, работали вместе, а также исследование человеческих историй, олицетворявших продуктивное взаимодействие британцев и русских.

Наш интерес к британскому обществу и культуре Соединенного Королевства никогда не ослабевал. Этот интерес предполагал необходимость достижения взаимопонимания – даже в обстоятельствах, которые этому не благоприятствовали.

МГИМО ведет интенсивное взаимодействие с несколькими британскими университетами, в том числе с Университетом Сент-Эндрюс и Редингским университетом. Реализуются программы двойных дипломов.

С XVI века британцы открывают для себя Россию. Но, думаю, этот процесс взаимного открытия бесконечен. Уинстон Черчилль констатировал: «Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость, но, вероятно, есть ключ. Этот ключ – национальные интересы России».

Уверен, что совместные научные публикации будут способствовать развеиванию мифов, преодолению недоверия, улучшению понимания специфики многовекового взаимодействия России и Британии.

Сравнительные исследования нашего прошлого, в том числе имперского, важны для утверждения адекватного, максимально объективного видения вклада наших стран в мировую историю и для того, чтобы почувствовать стратегическую эмпатию друг к другу.

*Анатолий Васильевич Торкунов  
академик, Чрезвычайный и Полномочный Посол,  
ректор Московского государственного института  
международных отношений (университета) МИД России*

*Anatoly V. Torkunov  
Academician, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,  
Rector of MGIMO-University*

## Предисловие Foreword



Проведение российско-британских встреч – это важное событие во взаимоотношениях ученых обеих стран. Как известно, первые встречи состоялись в Москве. Они были посвящены проблеме «научной дипломатии». В Лондоне речь шла о сравнительном анализе идентичностей России и Великобритании.

Сам факт встречи ученых-гуманитариев двух стран, несомненно, очень важен в современной международной ситуации. Не секрет, что в последние 5–10 лет контакты гуманитариев России и Британии были существенно снижены. Поэтому можно только приветствовать инициативу Российского фонда фундаментальных исследований и Исследовательского совета Великобритании по искусству и гуманитарным наукам начать процесс нового диалога. Диалог, поддержанный известными общественными фондами, может обрести площадку для постоянного обмена мнениями по проблемам, интересующим гуманитариев наших стран. Этот диалог может стать важным проявлением и инструментом той самой «научной дипломатии», с которой мы начали наши новые и перспективные контакты.

Заслуживает всяческой поддержки и тематика лондонской встречи. В мировой историографии и культурологии значительное внимание сегодня направлено на изучение проблем формирования, эволюции и роли национальной идентичности. Идут оживленные дискуссии о самом термине идентичности. Для некоторых специалистов это прежде всего национальное своеобразие, часто примыкающее к исключительности. Для других это не только своеобразие, но и органическая часть общего, мирового.

Важный вопрос состоит и в том, что служит наиболее существенным признаком национальной идентичности. В мире сложился определенный консенсус в понимании того, что идентичность – это синтез понятия культуры, языка, исторических традиций и исторической памяти.





Исследования проблем идентичности затрагивают всю духовную сферу, но оно невозможно без рассмотрения культурной политики и роли разнообразных институтов – музеев, архивов. Важнейшими компонентами в изучении проблем идентичности являются язык, литература, искусство.

Изучение проблем идентичности требует междисциплинарного подхода, включения в этот процесс представителей различных направлений гуманитарной науки и культурно-просветительской практики.

Программа общения предполагает обмен мнениями по всем этим вопросам.

Важно, чтобы нынешний диалог явился стимулом для продолжения исследований и последующих контактов гуманитариев России и Великобритании.

*Александр Оганович Чубарьян  
академик, Научный руководитель  
Института всеобщей истории РАН*

*Alexander O. Choubarian  
Academician, Scientific Director  
of Institute of World History, RAS*

## Предисловие Foreword



### *Дорогие читатели!*

Настоящий выпуск журнала «Вестник Российского фонда фундаментальных исследований» является свидетельством установившегося недавно сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Исследовательского совета по искусству и гуманитарным наукам Великобритании (ИСИГН).

Этот выпуск журнала составлен на основе материалов проведенных двух совместных круглых столов и в ожидании третьего и призван быть полезным его участникам для лучшего понимания основных точек взаимодействия России и Британии в области гуманитарных наук.

В марте 2019 г. на площадке Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации прошел круглый стол «Россия и Британия в сравнительной перспективе, 1800–2000 гг.». Ответное мероприятие «Британская и российская идентичности и культуры в сравнительной и межкультурной перспективе, 1800–2000 гг.» прошло в октябре 2019 г. в Музее Лондона в Лондоне. Эти встречи являются хорошим примером для налаживания сотрудничества наших стран в других областях и свидетельствуют о высоком профессиональном интересе и желании общения в таком формате научных сообществ обеих стран.

Оба проведенных мероприятия заслуживают внимания не только актуальностью тематик, но и представительным составом участников с обеих сторон, а также тем, что они демонстрируют успешную реализацию достигнутой в марте 2019 г. договоренности о сотрудничестве между их организаторами – ИСИГН и РФФИ. Примечательно, что с британской стороны участниками этих встреч стали исследователи и российского происхождения.

Проблемы осознания и сохранения национальной и культурной идентичности безусловно заслуживают внимания. Они остаются актуальными ввиду непрерывного расширения контактов между представителями разных стран и культур, активизации процесса глобализации и культурной интеграции, особенно заметно наблюдаемых в течение последних двух веков.

РФФИ имеет довольно продолжительный опыт сотрудничества с исследовательскими советами Великобритании в рамках совместного участия в Глобаль-

ном исследовательском совете, где Великобританию в настоящее время представляет профессор Эндрю Томпсон. Я имел честь принимать его, когда очередная ежегодная встреча Глобального Исследовательского Совета проходила в Москве в мае 2018 года. Возглавляемый профессором Э. Томпсоном Исследовательский совет – первый опыт двустороннего взаимодействия РФФИ с партнером из Великобритании в гуманитарных науках. У РФФИ есть большой опыт подобного сотрудничества в области естественных наук с Лондонским Королевским обществом, совместные конкурсы с которым проводятся с 2007 г. Ежегодно финансовую поддержку получают около 15 проектов.

Третье мероприятие – круглый стол «Культурное наследие России и Великобритании, 1800–2000 гг.» – должно было состояться в апреле 2020 г. в Государственном Пушкинском музее изобразительных искусств и послужить площадкой для проведения заседания экспертов с обеих сторон по определению тематик первого конкурса совместных проектов. Однако начавшаяся пандемия заставила нас перенести эту встречу.

Итак, этот выпуск «Вестника РФФИ» представляет вниманию читателей доклады российских и британских участников двух вышеупомянутых мероприятий. Даже эти краткие статьи дают представление о том, как широк горизонт гуманитарных исследований, проводимых при поддержке ИСИГН и РФФИ.

Надеюсь, что читатели нашего журнала проникнутся той творческой обстановкой, в которой прошли обе встречи экспертов двух стран.

Я выражаю искреннюю признательность участникам российско-британских встреч и авторам публикаций, а также сотрудникам редакции «Вестника РФФИ» И.А. Мосичевой и Е.Б. Дубковой, подготовившим этот выпуск журнала.

*Владислав Яковлевич Панченко,  
академик, председатель Совета Российского фонда  
фундаментальных исследований,  
главный редактор журнала «Вестник РФФИ»*

*Vladislav Ya. Panchenko  
Academician, Chairman of the Board  
of the Russian Foundation for Basic Research,  
Editor-in-Chief of “RFBR Journal”*

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ И БРИТАНИЯ В  
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, 1800–2000 ГОДА»,  
14–15 МАРТА, 2019, МОСКВА

ROUND TABLE “RUSSIA AND BRITAIN IN  
COMPARATIVE PERSPECTIVE C. 1800-2000”,  
14–15 MARCH, 2019, MOSCOW



Темы и тенденции новейшей историографии  
по истории империй



Concepts “Empire – Nation” and “Centre – Periphery”  
in Imperial Studies



*Велихан Салманханович Мирзеханов*  
профессор, заместитель директора по научной  
работе Института всеобщей истории РАН

*Velikhan S. Mirzekhanov*  
Professor, Deputy Director for Science,  
Institute of World History RAS

Когда мы говорим об империях, мы имеем дело с очень подвижной исторической реальностью, которая ни в коей мере не хочет уместиться в какие-то жесткие категориальные рамки и модели. Язык описания постоянно меняется.

Долгое время империя представлялась прежде всего как понятие, передающее представление об эстафете власти от одного государства к другому. Идея преемственности была системообразующей в средневековом историческом сознании империй. С начала XIX века содержание понятия «империя» стало обозначать не столько государство, исполняющее определенную функцию, сколько великую державу, обладающую большим политическим и военным могуществом. Хотя и религиозные моменты не исчезли из имперской идеологии полностью.

Феномен империи почти два века (XIX – XX) в первую очередь подразумевал идею иерархии, доминирования вертикальных связей над горизонтальными, но в новейшей историографии эта логика всё мень-

ше и меньше кажется безупречной, она не выдерживает проверку при встрече с исторической реальностью.

Трудности историков, острейшие дебаты вокруг темы имперского наследия связаны не только с отсутствием сведений, молчанием источников или непрофессионализмом. Главная трудность состоит в многообразии «местных» историй, которые децентрализируют общегосударственный нарратив и мешают построению коллективной исторической памяти.

Слишком просто видеть в имперской или колониальной истории период, который для России закончился в 1917 году, для Британии – с обретением Индией суверенитета или для Португалии – с признанием суверенитета Анголы и Мозамбика. Но разве можно думать, что продолжавшаяся столетиями имперская политика не оставила следов? Они повсюду! Это наследие не может исчезнуть. И если мы говорим о постимперском пространстве, мы это видим в архитектуре городов, мы это видим в инфраструктуре, в современном укладе

жизни, в языке, в присутствии «людей империй» и диаспор в этих странах. Мы прекрасно видим, как в политической культуре присутствует имперское наследие.

Соответственно, вопрос в том, как мы это всё описываем и каким образом сделать так, чтобы жизнь отдельных людей или жизнь отдельных групп, их воспоминаний не противостояли друг другу. Потому что судьбы рабов и колонизаторов, колонизаторов и туземцев, имперских чиновников и простых людей имперских окраин всегда переплетаются. Но в современной историографии, в том числе и в новой имперской истории, не получается увидеть все эти смыслы. Многие специалисты рассуждают сугубо юридическими категориями. Правовой подход, четко разделяющий хорошее и плохое, жертв и палачей, безусловно, уменьшает интерпретационный смысл истории. Поэтому для того, чтобы история колонизации, имперское наследие нормально изучались и стали частью новой другой жизни, безусловно, нужно уйти от этого правового подхода и увидеть все многочисленные смыслы в истории империй.

В новейших исследованиях продолжают дискутироваться всё те же темы: империя и нация, центр и периферия, особенности взаимодействия «людей империи» и местных сообществ. Ясно, что национальные нарративы задавали тон, но при этом истории наций и империй, метрополий и колоний, центров и окраин – они взаимосвязаны.

Ученые преодолели эту традицию, подчеркивающую оппозицию между центром и периферией. Потому что история империй – это не просто история противостояния, это не только история насилия, это в первую очередь история взаимодействия, переплетения, сотрудничества.

Но слишком часто в самых разных историографиях история империй представлена как нарратив, содержащий исключительно насилие. Это позволяет в текущих условиях отрицать вообще любое имперское наследие, воспринимать это наследие как неизбежное зло. Эта острота, этот приход оценочных политических моментов в науку очень сильно

затрудняют работу, в том числе и профессиональной историографии.

Совершенно очевидно, что метрополии и колонии неразделимы. Имперские практики на местах и ситуации внутри метрополий и имперских центров очень тесно взаимосвязаны. Колонии никогда не были пустыми местами, а европейские государства – исключительно самодостаточными образованиями. Европа была создана ее имперскими проектами подобно тому, как колониальные столкновения определялись конфликтами внутри самой Европы. Имперский проект, который реализовывался в других мирах, и национальный проект в Европе шли параллельно. Они дополняли друг друга. Их невозможно рассматривать изолированно. Если мы посмотрим сценарий национального строительства XIX века, мы в этом убедимся. Все абсолютно сценарии, в том числе и сценарий создания имперских наций в ядре, очень сильно определялись взаимоотношениями с колониями.

Очевидно, что отношения центров и периферий, будь то Российской империи и национальных окраин или Британской империи и британских колоний, – это не однонаправленное доминирование, а очень сложная циркуляция взаимных отношений, ориентаций ценностной природы, которые не замкнуты ни внутри империи, ни внутри метрополии или колонии, потому что их можно рассматривать только в рамках всей мировой системы.

Мне кажется, что в современной российской науке мы наблюдаем явную диспропорцию. У нас сотни исследований о периферии. Все ключевые научные группы, которые работают в имперской тематике, пишут о западных окраинах, о Центральной Азии, о Кавказе и т. д. Потому что всем вроде бы всё ясно с центром – это носитель насилия и некоего тоталитаризма. Но это сильно упрощает действительность. И проводить адекватные исследования в рамках такой упрощенной схемы совершенно невозможно.

Это не исключительная ситуация только российской историографии. Я думаю, она справедлива и для британской историографии, и для французской, и для немецкой.



Обязательно нужно вернуть в исследования изучение центра. Это крайне необходимо, потому что мы уходим из одной крайности в другую, соответственно, это упрощает наше восприятие той социальной реальности, которая была в имперский период.

Понятно, что колонизация означала господство, иногда уничтожение других народов и культур. Но она была у истоков связи, взаимозависимости, солидарности, ответственности. Когда мы говорим о взаимоотношениях русских с имперскими окраинами или европейцев с колониями, ни в коей мере мы не можем рассуждать только в категориях насилия и сопротивления. Потому что гораздо чаще мы сталкиваемся со случаями сотрудничества, взаимодействия и использования имперских ресурсов в местных интересах.

Совершенно возмутительной представляется презентация той же имперской науки, которую искусственно сделали служанкой имперской экспансии. Мы видим, что это несправедливо. Разве мы можем говорить об имперской, советской лингвистике как о служанке экспансии? Сколько языков, сколько культур было описано, какой был подвиг совершен учеными! Мне кажется, что главная проблема историографии в том, чтобы найти баланс: не искать виноватых, а попытаться в конкретной ситуации найти точный, целостный взгляд на историю как периферий, так и центров.

И, наконец, еще один момент, о котором я должен сказать, – огромная дискуссия о проблеме краха империй. Эта дискуссия всегда представлялась как борьба наций за свое самоопределение: униженные в рамках империй нации бились за свое самоопределение и в конечном итоге добились суверенитета.

Этот нормативный подход подвергнут в новейшей историографии последнего десятилетия деконструкции. Очевидно, что британские колонии получили независимость не только потому, что Индия или другие колонии боролись за независимость. В первую очередь импульсы шли из Лондона. То же самое можно говорить и о других аспектах взаимоотношений, потому что невозможно разделять колониальные и континентальные империи. Это была единая макросистема. И пока эта макросистема взаимодействовала, пока Габсбурги, Романовы, Оттоманы нуждались друг в друге, эта система была жива. Эти империи рухнули, и макросистема рухнула только тогда, когда великие империи XIX и начала XX века начали разрушать друг друга в результате своей политики.

Началось это с Крымской войны, а обрело полные очертания в годы Первой мировой войны. Все империи были заняты тем, как уничтожить своего геополитического противника. Работали с военнопленными, создавали лагеря, стимулировали национализм. Британцы стимулировали арабский национализм, чтобы уничтожить Оттоманскую империю. Австро-Венгерская империя стимулировала национализм поляков, имперских окраин России. Этот подход, по сути, в первую очередь и разрушил империи Восточной Европы и евразийские империи.

Мы видим очень много новых вызовов, которые требуют нашего внимания. И совершенно очевидно, что не нужно эти феномены включать в какие-то модели и жесткие рамки. Очевидно, что всё, что происходило в имперский период, нужно изучать как форму историко-политического бытия, определяемую конкретно временной и пространственной реальностью.



## Метрополия и периферия: имперские связи Британии Нового времени



### The Metropolis and the Periphery: Britain's Imperial Links during the New Time



*Марина Павловна Айзенштат*  
ведущий научный сотрудник,  
Институт Всеобщей истории РАН

*Marina P. Aizenstat*  
Leading researcher,  
Institute of World History RAS

История Британской империи неизменно привлекала внимание российских историков, которые посвятили ей ряд фундаментальных трудов. На протяжении десятилетий советские ученые акцентировали внимание на истории экспансии и национально-освободительной борьбы покоренных народов. Но уже с начала 1990-х годов изменился вектор исследований. Разрабатывались такие сюжеты, как управление заморскими территориями на рубеже XVII – XVIII веков, взаимосвязь колониальной и внешней политики в XVIII веке, реформирование принципов управления империей во второй половине XIX века. Важное место заняло обращение к образам строителей империи, что выявило широкий спектр побудительных мотивов расширения заморских территорий Британии.

Однако в работах российских историков остаются существенные лакуны, и среди них проблемы имперских связей, соединявших центр и периферию. Актуальность этой темы и значимость британского опыта для ряда современных государств требуют обращения к истокам их становления и выявления факторов, способствовавших их активизации.

На путь создания первых опорных пунктов Англия вступила вслед за Голландией после того, как уже был произведен раздел земель Нового света между Испанией и Португалией. С началом XVII века определились три региона, интересовавшие британцев: Северная Америка, Вест-Индия и Азия, где Ан-

глия столкнулась с соперничеством Голландии и Франции.

На протяжении столетий формирование империи диктовалось различными побудительными мотивами и осуществлялось разными методами, что предопределило статус территорий. А к началу XIX столетия Британия уже обладала значительными владениями, которые составляли переселенческие, так называемые белые, и непереселенческие колонии, а также опорные пункты в Северной Америке, Азии, Африке и Австралии. Климатические условия, степень концентрации местного населения, присутствие соперников обусловили пути их основания. Особенность британских владений состояла в том, что действующими лицами являлись эмигранты, миссионеры, авантюристы и торговцы, объединенные в акционерные компании. Значительную роль играла всемерная поддержка и помощь центральной власти, которая наделяла торговые компании монопольными привилегиями и правами собственности на землю, предоставляла статус колониальным поселениям и обеспечивала их защиту.

Первыми эмигрантами стали пуритане, бежавшие от религиозных преследований. Они надеялись создать на новом месте совершенное общество, опиравшееся на Библию. Эта идея создания справедливого общества в Новом свете сохраняла свою привлекательность еще в первой трети XIX века. Однако

для отъезда наиболее важными стали экономические причины. Торговцы, миссионеры, эмигранты являлись проводниками и в то же время творцами сложных связей метрополии и регионов. Среди них: экономические, политические, религиозные, культурные, кровно-родственные и другие. Оправляясь в далекое опасное путешествие или основывая поселение на новой территории, они приносили с собой на эту землю традиции семьи и края, политические и правовые представления, религиозные убеждения, культурные и профессиональные навыки, язык. А о крепости уз колонистов с метрополией свидетельствует то, что они рассматривали себя подданными короля.

В метрополии связь центра и регионов ассоциировалась с семейными отношениями. Если в XVIII веке возникала аналогия взаимоотношений отца и сына, то к XIX веку утвердилось сравнение отношений матери и дочери, что в обоих случаях подчеркивало зависимое положение заморских территорий.

Тем не менее многообразие связей явилось фундаментом формирования чувства имперской идентичности. Это был длительный процесс, ускорение которого происходило со второй половины XIX века.

Завершение наполеоновских войн в 1815 г. повлекло обострение социально-экономических и политических проблем метрополии. Подъем протестного движения сопровождался выработкой предложений по преобразованию внутренней и колониальной политики метрополии. Долгое время критика радикалов колониальной политики Лондона расценивалась современниками, а впоследствии и историками, как антиколониальная позиция. В них видели противников обладания заморской империей. Между тем идеи радикалов, ядро которых составляли так называемые философские радикалы, были нацелены на изменение и интенсификацию связей центра и периферии, что отвечало интересам британского торгового, промышленного, а впоследствии и финансового капитала.

Радикальная мысль зародилась во второй половине XVIII века, главным ее посту-

латом стало требование изменения системы представительства в Парламенте, расширение политических прав граждан страны. В первой половине XIX столетия оформилось их представление о путях развития империи. Исходя из трактовки самого термина «колония», появившегося впервые в греческом языке и обозначающего поселение за морями выходцев из страны, радикалы выделяли колонии, основанные выходцами из Британии, то есть переселенческие колонии. В то время к ним относились Канада и австралийские колонии. Земли в Индии и Африке составляли непереселенческие владения. Соответственно радикалы разделяли пути складывания взаимоотношений с ними.

Радикалы, будучи сторонниками свободной торговли, выступали в Парламенте, прессе и на митингах за пересмотр таможенной политики метрополии, ратовали за полную отмену ограничений: регламентации торговых путей и тоннажа кораблей, таможенных сборов, которые стали затруднять ведение торговли между метрополией и колониями, а также между самими колониями. Радикалы отстаивали поощрение на государственном уровне выезда бедняков из Англии. К 1815 году приходскую помощь получал каждый четвертый житель Англии. То есть четверть населения королевства выживала за счет налогов, взимаемых с имущих жителей прихода. При этом численность населения стремительно увеличивалась. Росло недовольство плательщиков налога, особенно в бедных приходах. В организации отъезда бедняков радикалы видели решение проблемы оказания им помощи в метрополии и снятие напряженности, которую несло с собой наличие сотен тысяч обездоленных людей, не имевших работы, вынужденных прозябать на нищенские пособия. Осуществление этой идеи на практике способствовало бы увеличению численности населения переселенческих владений, притока рабочих рук и одновременно усилению связей центра и периферии.

Радикалы были убежденными сторонниками введения основ самоуправления и ответственного правительства в переселен-

ческих колониях. Поэтапное осуществление этих мер правительством вело к укреплению политических связей метрополии и отдельных колоний.

В 1840-е годы радикалы настаивали на скорейшем установлении пароходного сообщения со всеми заморскими владениями. Со временем использование пароходов значительно сократило сроки нахождения в пути груза, деловой и частной корреспонденции. Помимо экономических выгод, это улучшало связи администраций центра и периферии.

С иных позиций радикалы подходили к управлению непореселенческих владений. В их основу легли положения, высказанные Джеймсом Миллем в «Истории британской Индии», опубликованной в 1817 г. Дж. Милль, сторонник концепции стадияльного развития народов, обосновал идею о цивилизаторской миссии британцев на Востоке. Исходя из основополагающих принципов концепции, он проанализировал культуру, религию, традиции, ремесло индийцев и пришел к выводу, что народ Индии

находится на варварской стадии развития. Англичане, оказавшись в Индии за счет реализации различных геополитических соображений в самом регионе, геополитических соображений метрополии, а также активной политики некоторых чиновников Ост-Индской компании, были вынуждены взять на себя руководство развитием народа. В конце столетия эти идеи воплотились в концепте «бремени белого человека» и осуществлении цивилизаторской миссии.

В отношении этих владений не предполагалось ни установления самоуправления, ни ответственного правительства. Радикалы выдвигали предложения по введению плантационного выращивания различной продукции, а в качестве опоры администрации и проводника ее политики предлагали использовать так называемых индобританцев, потомков от смешанных браков. Постепенное осуществление на практике этих, хотя и не всех, предложений способствовало развитию политических, социальных, экономических и культурных связей центра и периферии.



## Tendons of Empire and British Post-Colonial Influence



### Столпы империи и британское постколониальное влияние



*Sarah Stockwell*

*Professor of Imperial and Commonwealth History,  
Department of History, Kings College London*

*Сара Стоквелл*

*профессор истории Империи и Содружества,  
исторический факультет,  
Королевский колледж Лондона*

This paper considered the period after empires end and, more especially, the broad theme of the relations between a former colonial power and its ex-colonies. It did this via a discussion of British technical and military assistance from the early 1960s. The paper had two purposes: first, to argue for the importance of technical assistance in Britain's post-colonial relations with former colonies, and to establish some key features of this; and, second, to suggest that the British experience of delivering technical assistance to ex-colonies shaped subsequent British involvement with other regions that had never been part of the British Empire, including, from c. 1990, Russia and Eastern Europe.

Technical assistance was defined by the British government as “the provision of *training, experts, and equipment*”. It did not involve handing over money, and unlike capital aid, which was principally provided for expenditure on economic development, technical assistance was given across a wide range of sectors and activities. British technical assistance was delivered in two ways: multilaterally through participation in programmes run by organisations like the United Nations or the Commonwealth, and bilaterally, the form on which I focused. The provision of technical assistance became one of the defining features of international aid to emergent states in the postcolonial era. To understand why, I suggested that we need to remember that political independence at the end of empire was often the starting rather than the end point

in a process of state building. The extent to which this was the case varied regionally and in relation to the character of colonial regimes, but many former colonies especially in Africa entered independence lacking established institutions that we associate with independent nation statehood as well sufficient numbers of experienced and trained local professionals to appoint to posts in them. Moreover, technical assistance was an attractive form of aid to British ministers and officials. It was not only relatively cheap compared to capital (financial) aid but helped foster enduring links between the donor and recipient. It thus (to a greater extent than capital aid) presented opportunities for the British state and institutions to exercise leverage over the affairs of new states and to disseminate British models. Technical assistance might enable the British government to place British personnel in key positions in emergent states or establish connections to those in, or likely to attain, positions of power and influence.

Through a discussion of the key British programmes for the delivery of civilian and military assistance, I showed that the end of the British empire was followed by a period of ongoing – and in some cases extensive – involvement in its former colonies, which saw Britons appointed to posts in the public services of African and Caribbean states long after they had become formally independent of Britain. As empire was ending, there was also an exponential increase in the numbers from former colonies

receiving some form of training in Britain, including military training, with significant numbers of overseas officer cadets trained at the Royal Military Academy Sandhurst. In the last days of empire, the proportion of overseas to British cadets reached about 1:5, and would have risen higher if the authorities at Sandhurst had not vigorously protested that the presence of the overseas cadets was compromising their ability to fulfil their primary purpose of training British cadets. Having discussed technical and military assistance programmes run by the British state, I suggested that the larger picture of British aid is only complete if we extend our attention beyond the activities of the state itself and note the contribution of a series of institutions on the fringes of the state, such as the Bank of England, which although nationalised in 1946 retained considerable autonomy. I discussed how from the late 1950s the Bank became involved in offering a variety of forms of assistance to new states, most notably through the inauguration of a training course.

Through the provision of these forms of technical assistance the British state and non-state actors sought to advance a variety of British objectives. At the most basic level the British placed importance on maintaining British and British-trained personnel in senior roles overseas. They hoped that this might yield commercial dividends whether in relation to the purchase of British goods generally or of military hardware and arms. But British motives were also strategic and must be understood within the context of the Cold War, and a perceived “risk” that post-colonial states would look to other countries, notably Russia, for assistance, and, especially, training. Non-state actors had their own interests that they hoped to advance. For the Bank of England these included protecting sterling and the sterling area (the group of countries that based their currencies on sterling), and the promotion of the services of the City of London.

In this respect these motives – designed to secure a variety of national interests – were probably little different to those of other foreign states and actors. However, as the departing colonial power, Britain had its own,

distinct, reasons for investing in technical assistance. In particular, the UK government had a responsibility to some British personnel and interests in former colonies and a vested interest in the stability of institutions in new Commonwealth states. Technical assistance and the various ongoing “tendons” of empire in postcolonial states were also not simply or straightforwardly a form of neo-colonialism. Despite repeated British attempts to allocate aid strategically, technical assistance programmes were a resource that developing states were able to manipulate to their own advantage in ways that were unforeseen and unwelcome to British governments and might undermine British efforts to target assistance where it would bring most influence.

The last part of the paper considered the ways in which decolonisation reconfigured spaces in ways which created new opportunities beyond the borders of the empire – Commonwealth. This was not simply because decolonisation gave Britain (and other countries) leave to expand their interests and services to non-Anglophone states. Rather the decolonising process – and specifically the provision of technical assistance to former British colonies – provided experience and generated initiatives that became the platform for institutional connections to states that had never been part of the British empire. Or to put it another way, British decolonisation was formative in how the British state and non-state actors engaged with the wider world in the late twentieth century.

Two different sets of examples were used to support this contention. First, I explored how the mechanisms Britain developed for the provision of military assistance principally to British colonies or Commonwealth states were used when Britain wanted to establish connections to or offer aid to foreign states. For example, the British government began funding cadets from non-CW states to attend Sandhurst; recruitment became more diverse over time. From the 1990s they included a sprinkling of cadets from Eastern Europe and the former Soviet Union as well as those countries in which Britain intervened militarily in the later twentieth century. Second, I discussed a new

venture by the Bank of England: the creation in 1990 of a Centre for Central Banking Studies. Although the Bank continued to provide courses aimed at Commonwealth countries, the origins of the Centre, lay in the priority the Bank now attached to Eastern Europe following what was referred to as a “flood of requests from the Soviet Union and Eastern Europe” for assistance. The Centre was conceived as a distinct initiative in response to this development, but the experience of staging the Commonwealth course provided the platform on which the Centre was built. It provides an illustration of how the process of *decolonisation* as well as colonialism could have its own distinct legacies. In its first three years, seventy per cent of participants in courses at the Centre were from Eastern Europe or the former Soviet Union, and, as well as hosting delegates in London, the Bank ran training courses in Eastern European states.

In sum the British state and a variety of British institutions below the level of the state became involved in delivering technical assistance in ways that contributed towards a prolongation, and even an extension of, British connections with former colonies not just between governments but also at an institutional level. As one generation of alumni assumed

senior positions in their own institutions, it reproduced, for a new generation, professional connections to British institutions. Although many postcolonial states were keen to diversify their external relations and reduce their reliance on Britain, such links nevertheless contributed to the persistence in an otherwise increasingly globalising world of networks or of some form of British “sphere” or “spheres” that map closely, but not fully, on to the Commonwealth – albeit that these “spheres” were far from coherent, were crossed by other competing associations and affected by the disintegrative forces of national and regional development. Moreover as I have suggested while institutions and organisations of other foreign states might and did intrude upon these spheres, and there was competition and divisions within them, decolonisation also reconfigured old colonial geographies in ways that could yield opportunities in other states that had never been part of the British Empire. These points led me to suggest that from a British perspective we should not view “decolonisation” as simply the final phase in British colonialism. Rather, decolonisation – the transitional phase from colonialism to the postcolonial – should be seen in more dynamic terms in which we are not just dealing with “legacies” of empire.



## Британия в поисках новой роли: неоимперский и глобальный проекты тори в свете Брексита



### In Search of a New Role: Neo-Imperial and Global Britain Tory Projects in the Light of Brexit



*Наталья Кирилловна Капитонова*  
профессор,  
МГИМО МИД России

*Natalia K. Kapitonova*  
Professor,  
Moscow State University of International Relations  
(MGIMO-University)

Сложный и весьма болезненный период развала обширной колониальной империи, растянувшийся на несколько десятилетий XX века, Британия пережила непросто. Как справедливо заметил еще в 1949 г. главный научный советник министерства обороны Г. Тизарт, «мы продолжаем считать себя великой державой, способной на любые действия и только временно из-за экономических трудностей не имеющей возможности их предпринять. Но мы уже не великая держава и больше никогда ею не будем. Мы великая нация, но прекратим ею быть, если будем продолжать вести себя как великая держава». В том же ключе высказался в 2018 г. и известный британский аналитик Р. Саква, напомнивший слова премьер-министра Бельгии Пола-Анри Спаака: «В Европе находятся только два типа государств – малые страны и малые страны, которые еще не осознали, что они малые», и считающий, что Великобритания, несомненно, принадлежит ко второму типу [1]. Для нее всегда была характерна двойственность: будучи европейской, региональной, она в то же время ощущает себя глобальной державой, поэтому ее определение правительством в 1969 г. как «ведущей державы второго ряда» [2] было воспринято истеблишментом с негодованием.

Оказавшись на распутье, Британия сделала выбор в пользу Европы. Вместе с тем, опираясь на особые отношения с США и позиционируя себя в качестве державы с гло-

бальными интересами, она пришла в ЕЭС не под влиянием «европейской идеи», а потому что не хотела утратить свое политическое влияние, оставшись за рамками набирающего мощь нового «центра силы». Процесс европеизации сопровождался масштабным сокращением торговых связей с Содружеством (сейчас говорят, что это было его предательством и что Британия явно «поставила не на ту лошадь»), сокращением глобальных военных обязательств и выводом войск из района «к востоку от Суэца», острой полемикой по вопросу поиска новой роли.

Между тем история пребывания Британии в ЕС, куда ее допустили лишь с третьей попытки, не так печальна, как это представляют евроскептики. В ходе борьбы за «место под солнцем», за более выгодные условия членства были достигнуты весомые успехи: сокращение взноса Британии в бюджет Сообщества, что вернуло ей (с 1984 г. по 1913 г.) 75 млрд фунтов стерлингов; укрепление с помощью веса Западной Европы положения в системе международных отношений; выступление от ее имени во взаимоотношениях с Вашингтоном и Москвой. Вместе с тем Маргарет Тэтчер не удалось надолго затормозить процесс углубления интеграции в Европейское экономическое сообщество. Ее преемник Дж. Мэйджор подписал в 1992 г. Маастрихтский договор о создании Европейского Союза (ЕС), обеспечив стране место за столом ведущих игроков и сохранив



при этом определенную свободу маневра: не допустившая федерализма Британия не участвовала в Экономическом и валютном союзе, не присоединилась к Социальной хартии. Вместе с тем к концу его правления отношения Британии с ЕС вновь, как и при М. Тэтчер, зашли в тупик. Консерваторы вынуждены были фактически признать разнородный характер европейской интеграции в будущем. Годы правления лейбористов (13 лет) – это этап конструктивного сотрудничества с Евросоюзом и борьбы за лидерство. Британия присоединилась к Социальной хартии, выразила намерение перейти на единую европейскую валюту, участвовала в разработке европейской конституции, а также стала инициатором военной интеграции. Подписав Лиссабонский договор, она по-прежнему сохраняла особый статус, оставаясь вне еврозоны.

К 2010 г. страна была уже довольно основательно интегрирована в ЕС, имея при этом максимум исключений. Однако кризис еврозоны, а также широкая программа ее стабилизации, предложенная тандемом Париж – Берлин (воспринятая Лондоном как создание европейского «экономического правительства» и угроза своему суверенитету), стали тем спусковым крючком, который в итоге развернул ситуацию в сторону Брекзита. Европа «двух скоростей» становилась реальностью: экономическое ядро из 17 участников еврозоны и 10 остальных членов с сокращающейся возможностью для задвигаемой на периферию Британии влиять на принятие решений.

Угроза вето со стороны Д. Кэмерона еще более осложнила отношения с европейскими партнерами, усилила евроскептицизм в британском обществе, вызванный в том числе бесконтрольным наплывом европейских иммигрантов. Стремление преодолеть раскол в партии, улучшить ее перспективы на грядущих парламентских выборах подвигло премьера на рискованный шаг, граничащий с авантюрой, – обещание провести референдум по вопросу сохранения членства в ЕС. Требуя пересмотра баланса полномочий в пользу Британии, одержавший победу

на выборах, он по существу шантажировал ЕС угрозой Брекзита. Желая помочь ему победить на референдуме, Брюссель пошел на мелкие уступки, которые были преподнесены Д. Кэмероном британцам как «фундаментальные изменения», сделавшие членство страны в ЕС вполне приемлемым. Однако, явно переоценив свои возможности, он провалил кампанию, представлявшую собой «умопомрачительное сочетание самонадеянности и некомпетентности» [3]: страна, как известно, проголосовала за выход.

Несколько слов о реакции на Брекзит в России. Итоги референдума стали совершенно неожиданными не только для британцев, но и для российских аналитиков, предсказывавших победу противников Брекзита, хотя и с небольшим перевесом. Москва была нейтральна: линия российского руководства состояла в том, что России удобнее иметь дело с единой Европой, в поддержку Брекзита не высказывался никто из официальных лиц. В экспертном сообществе мнения были разные: многие сочувствовали британским евроскептикам, выражая надежду на то, что многолетняя «мыльная опера» непростых взаимоотношений ЕС и Британии может подойти к концу, что, впрочем, считалось маловероятным. Другие сочувствовали Брюсселю, отмечая положительный момент Брекзита: освободившись, наконец, от своего осторожного партнера, ЕС сможет двигаться дальше по пути углубления интеграционных процессов в более быстром темпе [4]. Поэтому объявление итогов референдума прозвучало как гром среди ясного неба. Восхищение упорством евроскептиков, сумевших сплотить британцев и переиграть правительство, бесстрашием народа, который, опираясь на исторические традиции и мощь собственной экономики, предпочел выбрать «прыжок в неизвестность» [5, с. 174]; растерянность в связи с неопределенностью будущего Британии после выхода из ЕС (варианты такого развития событий в России всерьез не рассматривались), ее возможным распадом; определенное удовлетворение по поводу этого, возможно, стратегического просчета нашего главного политического оппонента;

а также слабая надежда на то, что Брекзит поможет нормализации англо-российских отношений, – такие чувства преобладали среди экспертов и простых граждан, интересующихся международной проблематикой.

В настоящее время Британия проходит не менее сложный, чем в недалеком прошлом (связанном с потерей империи), полный неопределенности мучительный период Брекзита. Каковы его последствия для роли страны в международных отношениях? По мнению многих аналитиков, выйдя из ЕС, она, скорее всего, утратит прежнее влияние в мировой политике, реально став небольшой европейской страной, впрочем, сохранившей способность «ударить сильнее своих возможностей» (то есть выступать на международной арене в более тяжелой весовой категории). Став аутсайдером, Лондон не только не сможет влиять на процесс принятия решений внутри ЕС, но и утратит свою привлекательность в качестве важного партнера для других мировых игроков, в том числе и в экономической сфере; его роли главного лоббиста интересов азиатских партнеров в Евросоюзе и «входных ворот» для азиатского бизнеса на европейский рынок, которую он играл на протяжении последних десятилетий, придет конец. Снизится привлекательность страны для иностранных инвесторов. На противоречия между амбициями и перспективой утраты влияния на мировой арене обращали внимание многие британские политики, в частности, Н. Клегг, Т. Блэр, У. Хейл, а также Дж. Мэйджор, назвавший мечты премьер-министра о создании «глобальной Британии» «нереальными» и «сверхоптимистичными» [6].

Один из вариантов нового статуса Британии был предложен Д. Кэмероном еще до референдума – возрождение Британии в качестве великой державы в Средиземноморье и на Ближнем Востоке («Новая имперская политика»). В январе 2017 г. уже Т. Мэй заговорила о возрождении былого величия страны, превращении ее в новый «центр силы», настоящую «глобальную Британию», «лучшего друга и соседа» Европы, чьи интересы простираются далеко за ее пределы. В ме-

морандуме Форин-офис была нарисована впечатляющая картина будущей Британии – «активной в каждом регионе, работающей с союзниками и партнерами в обеспечении собственной и глобальной безопасности» [7].

«Неоимперский проект» при всей его привлекательности никак не вписывался в европейский проект с его акцентом на отказ от государственного суверенитета. Таким образом, Брекзит можно считать вполне закономерным. Вместе с тем попытка Британии играть сепаратно, отдельно от Европы (основываясь на «особых отношениях» с США, переориентируясь вслед за ними на Азию, а также опираясь на Содружество, форсированию связей с которым уже с 2010 г. отдается приоритет) пока представляется малореалистичной. В первой десятке торговых партнеров Великобритании вообще нет стран Содружества, к тому же его члены могут, в частности, подозревать, что под лозунгом «глобальной Британии» она стремится возродить Империю, память о которой у многих отнюдь не благодатная. Страны Содружества будут отдавать предпочтение Евросоюзу с его огромным рынком, а не Британии; переговоры с ними о либерализации торговли не обещают быть легкими хотя бы потому, что многие страны, прежде всего Индия, будут защищать собственные рынки (степень субсидированности сельского хозяйства в Индии, к примеру, до сих пор выше, чем во Франции) [8]. Между тем Лондон надеется на то, что освобождение от ограничений, связанных с членством в ЕС, и возвращение к «фритрейдерству» позволит не только сохранить достигнутый уровень отношений, например, с гигантами Азии, но и расширить взаимодействие с ними.

Таким образом, можно констатировать, что решительно отказываясь от прежней роли, принося в жертву явные преимущества членства страны в едином европейском рынке, Британия после недолгих раздумий выбирает для себя новую – призрачный глобальный статус, процесс адаптации к которому может занять долгие годы без каких-либо гарантий успеха. Помочь ей на этом пути могла бы Россия, деловые связи с которой

не так давно были быстроразвивающимися и взаимовыгодными. Однако на данном этапе разгребание завалов в политических от-

ношениях наших стран (с учетом всех отягчающих моментов), к большому сожалению, представляется весьма проблематичным.

## Литература ●

1. **R. Sakwa**  
*Russo-British Relations in the Age of Brexit, Etudes de l'Ifri: Russie. Nei. Reports*, 22.02.2018. ([https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sakwa\\_russo\\_bristish\\_relations\\_2018.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sakwa_russo_bristish_relations_2018.pdf)).
2. **J. Gaskarth**  
*British Foreign Policy: Crises, Conflicts and Future Challenges*, UK, Cambridge, Polity Press, 2013, 271 pp.
3. **D. Reynolds**  
*Twilight of the postwar era*, *New Statesman*, 30.05.2017. (<http://www.newstatesman.com/politics/elections/2017/05/twilight-postwar-era>).
4. **A. Gromyko**  
*Institute of Europe RAS: Working Paper*, 2017, № 3(29), 1. (<http://en.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/wp29.pdf>).
5. **H.D. Clarke, M. Goodwin, P. Whitley**  
*Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union*, UK, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 272 pp.
6. **T. Harrois**  
*Observatoire de la société britannique*, 2018, No. 21, 51. DOI: 10.4000/osb.2119.
7. *Global Britain: delivering on our international ambition: This page brings together the main documents that set out the government's vision for Global Britain, 2018–2019*. (<https://www.gov.uk/government/collections/global-britain-delivering-on-our-international-ambition>).
8. *The Empire strikes back. Some British Eurosceptics see the Commonwealth as an alternative to Europe. It isn't*, *The Economist*, 24.11.2012, p. 59. (<https://www.economist.com/britain/2012/11/24/the-empire-strikes-back>).



## Science, Empire & Global Environmental Challenges in the Twentieth Century



### Наука, империя и глобальные экологические вызовы XX века



*Jonathan Oldfield*

*Reader in Russian Environmental Sciences,  
School of Geography, Earth and Environmental Sciences,  
Birmingham University*

*Джонатан Олдфилд*

*специалист по наукам об окружающей среде в России,  
Школа географии, наук о Земле и окружающей среде,  
Бирмингемский университет*

For many, the twentieth century signified a key shift in the character of the relationship between humankind and the wider environment. A range of concepts has been mobilised in order to capture the extent of this changing relationship, and this includes such notions as the Great Acceleration, biosphere-noosphere evolution, and more recently the Anthropocene. Of the many factors behind humankind's growing power with respect to the Earth's physical processes during the course of the twentieth century, the themes of science, empire and superpower interaction were of central importance. In order to open up this area for further debate, the following reflects on the activities of the USA and the Soviet Union.

The multiple ways in which these two superpowers engaged with the physical environment can be considered in relation to at least five general areas:

- Large-scale impact on natural systems through economic and military activity;
- Regulation of the environment for administrative purposes and social betterment;
- Understanding the environment and its processes for defence/military purposes;
- Utilising the environment for the advancement of international diplomacy;
- Conceptualising society-environment interaction and future trajectories.

These activities have deep roots and elements can be traced back to earlier centuries and the agendas and policies of large states and empires. For example, scholarship has drawn

attention to the deleterious consequences of empire building on the natural environment of distant lands as well as the profound impact of experiencing new natural environments on the production of domestic scientific knowledge and the development of linked practices (e.g. Beinart and Hughes [1], Crosby [2], Moon [3]). James Scott [4] advanced the notion of “seeing like a state” to cast light on the myriad ways in which states have tried to gain an understanding of their physical environment in order to facilitate management of natural processes for social betterment. This approach is characterised by a strong belief in science and technology and the ability of humankind to exercise control over the physical world. Both the USA and the Soviet Union embodied these beliefs, albeit within different ideological frameworks, resulting in significant consequences for the functioning of natural processes across large parts of the globe (e.g. see McNeill and Unger [5]).

The central importance of science and related technical innovation for bringing an end to World War Two ensured that great emphasis was placed on applied areas of science post-1945 within both the US and Soviet contexts. Continued progress in areas such as nuclear weaponry and rocketry required a deep understanding of physical processes, which facilitated the forging of close links between the military, industry and higher education sectors [6]. Furthermore, disciplines such as ecology were provided with additional funding in order to assist in the assessment of the

consequences of military action, most notably in the area of nuclear fallout.

The Cold War was a period of relatively extensive international scientific collaboration between US and Soviet academics in spite of wider political tensions. For example, the collaborative particularities of the International Geophysical Year (1957–1958) have received notable attention in recent years [7], and such initiatives were joined by later efforts, which encompassed the biological sciences (International Biological Programme, 1964–1974) as well as fields such as environmental conservation (e.g. UNESCO's Man and Biosphere Programme). In addition to such multilateral programmes, the two superpowers were party to a comprehensive unilateral initiative underpinned by the 1972 US – USSR Environmental Agreement. This spanned a range of different areas including air and water pollution, earthquake prediction, and the preservation of nature etc. [8]. The Soviet Union and USA also initiated the establishment of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in 1972, which would go on to carry out innovative work in areas such as energy, population, and the biosphere [9].

The activities of the Soviet Union and the USA during the Cold War period contributed to the marked upturn in humankind's impact on the Earth system post-1945, which is captured in the notion of the Great Acceleration. Furthermore, their scientists played a formative

role in the emergence of influential concepts aimed at interpreting the changing character of nature – society relations more generally. For example, the ideas of the Russian biogeochemist, Vladimir Vernadsky (1863–1945), concerning the biosphere and its qualitative shift to a new evolutionary state – the noosphere – proved influential both domestically and on the international stage [10]. Taken together, the enormous power and potential unleashed by the technical and scientific achievements of these two countries in areas such as nuclear weaponry, remote-sensing, and space exploration proved key in advancing not only our collective ability to undermine aspects of the Earth system, but also in deepening our ability to measure, comprehend and potentially control physical processes at the regional and global scales.

There is still much work to be done in order to deepen our understanding of the marked shift in society – nature relations that occurred during the course of the twentieth century (see McNeill and Engelke [11]). Further analysis will also assist in uncovering the many reasons behind our current environmental predicament, which in turn will encourage critical reflection on current academic discussions and policy responses, helping to inform and shape future activities. Central to any such undertaking lies an exploration of the scientific, technical and geopolitical particularities of the Soviet Union and the USA.

## References

1. **W. Beinart, L. Hughes**  
*Environment and Empires, Oxford History of the British Empire Companion Ser.*, UK, Oxford, Oxford University Press, 2007, 416 pp.
2. **A. W. Crosby**  
*Ecological Imperialism: The Expansion of Europe 900-1900*, USA, NY, New York, Cambridge University Press, 1986, 368 pp.
3. **D. Moon**  
*The Plough that Broke the Steppes: Agriculture and Environment on Russia's Grasslands, 1700-1914*, UK, Oxford, Oxford University Press, 2013, 344 pp.
4. **J.C. Scott**  
*Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, USA, CT, New Haven, Yale University Press, 1998, 464 pp.
5. *Environmental Histories of the Cold War, Ser. Publ. German Hist. Inst.*, Eds J.R. McNeill, C.R. Unger, UK, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 362 pp. DOI: 10.1017/CBO9780511730382.
6. **R.E. Doel**  
*Soc. Stud. Sci.*, 2003, 33(5), 635. DOI: 10.1177/0306312703335002.
7. **K. Dodds**  
In *New Spaces of Exploration: Geographies of Discovery in the Twentieth Century*, *Tauris Historical Geographical Ser.*, Eds S. Naylor, J.R. Ryan, UK, London, I.B. Tauris Publ., 2009, pp. 148–172.
8. **N.A. Robinson**  
*The U.S. – U.S.S.R. Agreement to Protect the Environment: 15 Years of Cooperation*, Pace University, Pace Law Faculty Publications, 1988, 18 *Envtl. L.* 403. (<http://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/384>).
9. **E. Rindzevičiūtė**  
*The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World, Ser. Cornell Studies in Classical Philology*, USA, NY, Ithaca, Cornell University Press, 2016, 292 pp. ([www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1d2dmw5](http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1d2dmw5)).
10. **J.D. Oldfield, D.J.B. Shaw**  
*Brit. J. Hist. Sci.*, 2013, 46(2), 287.  
DOI: 10.1017/S0007087412000015P.
11. **J.R. McNeill, P. Engelke**  
*The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945*, USA, MA, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, 288 pp.



## Советский Союз: неудавшаяся империя или государство наций



### Soviet Union – Failed Empire or State of Nations



*Андрей Константинович Сорокин*  
директор Архива социально-политической  
истории

*Andrey K. Sorokin*  
Director of Russian State Archive  
of Socio-Political History

Одним из новых государств в начале XX века стал Союз Советских Социалистических Республик. Большевистское руководство Советской России ответило на вызов со стороны национализма целостной политикой. В ее рамках развивалось национальное самосознание этнических меньшинств, создавались формы, институционализирующие новые национальные идентичности, целенаправленно создаваемые сверху. Эта политика получила в некоторых современных западных работах вызывающее название «положительной деятельности». В этом определении, конечно, содержится антитеза традиционному подходу, квалифицирующему Советский Союз как традиционную империю, ставшую продолжением империи досоветской.

Процесс деколонизации в мировом масштабе представлялся новому революционному истеблишменту необратимым. И не только большевикам. Вудро Вильсон, как мы знаем, придерживался сходной позиции, что не было тайной для партийной верхушки большевиков.

Большевикам лозунг права наций на самоопределение представлялся лишь промежуточным этапом на пути к всемирной республике Советов. Не допустить реального отделения, провозглашенного ими формально, было возможно лишь на пути интенсивной поддержки всех форм самоопределения. К выработке политики, реализующей этот поход, и приступили большевистские ли-

деры вскоре после окончания гражданской войны.

Но до этого момента, инкорпорируя в свой состав протогосударства, возникшие на окраинах, молодое советское государство использует методы, напоминающие традиционные, которые практически не отличаются от современных им практик третируемых колониальных империй. Это был довольно короткий период силового подавления национальных движений, но не по национальному, а по социальному признаку – противостояния новому порядку. Социальное конструирование могло принимать позитивную форму не только «положительной деятельности», но и негативного вмешательства, как, например, выселение казаков Дона и Терека в 1919–1920 годах из мест традиционного проживания и замена их на Северном Кавказе горцами, депортация народов в годы Второй мировой войны.

Столкнувшись в период революции и гражданской войны с повсеместными проявлениями национализма, во многом спровоцированного большевистскими лозунгами о национальном самоопределении вплоть до отделения, Советское государство, персонафицированное фигурами Ленина и Сталина, на некоторое время совпавшими в своем понимании национальной проблематики, отреагирует на него. На вооружение принимается политика поощрения (в известных пределах) советского национализма. В ее рамках со-

здаются тысячи национальных территорий, разбросанных по всему СССР, многие из которых состояли из нескольких деревень (см. работы Дэниэла Шейфера, Терри Мартина). Поняв реальность националистической угрозы, Ленин по выходе из гражданской войны сознательно старается создать антиимперское государство.

Однако в позициях лидеров большевиков проявляются нюансы, которые приведут к конфликту Ленина и Сталина в вопросе о принципах строительства СССР. В начале апреля 1918 г. Сталин заявит: «Федерализму в России суждено... сыграть переходную роль к будущему социалистическому унитаризму. <...> Субъектами федерации должны быть... не всякие географические территории, а лишь определенные области, естественно сочетающие в себе особенности быта, своеобразии национального состава и целостность экономической территории. Таковы – Польша, Украина, Финляндия, Крым, Закавказье (причем не исключена возможность, что Закавказье разобьется на ряд определенных национально-территориальных единиц...), Туркестан, Киргизский край, татаро-башкирская территория, Сибирь и т. п.» Эту теоретическую установку Сталин постарается реализовать в практической деятельности в процессе создания СССР. В октябре 1922 г. он предложит проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками, который предлагал «признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик – Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении – в состав РСФСР...». Ленин отвергнет это предложение, ставшее известным как план автономизации, и предложит план советской федерации независимых республик с правом выхода из состава Союза. Предложение Ленина станет для Сталина неожиданным, поскольку вся предшествующая практика не подвергала сомнению ни установок Сталина, ни предлагавшихся им практических решений.

Считается, что именно Ленин формирует начала политики так называемой, «коренизации», интерпретируемой как «положительная деятельность». Происходит это в 1919 г.,

когда ЦК РКП(б) принимает резолюцию о советской власти на Украине, в основу которой будут положены ленинские тезисы. Членам партии вменялось всеми средствами содействовать устранению препятствий к свободному развитию украинского языка и культуры, установлению права учиться и объясняться во всех советских учреждениях на родном языке, «принять меры, чтобы во всех советских учреждениях имелось достаточное количество служащих, владеющих украинским языком и чтобы в дальнейшем все служащие умели объясняться на украинском языке». Сталин сделает это ранее. В начале 1918 г. он поставит задачу найти специальные способы вовлечения трудящихся и эксплуатируемых масс национальных окраин в процесс революционного развития. Перспективы решения этой задачи Сталин увидит в «организации местной школы, местной администрации, местных органов власти, местных общественно-политических и просветительских учреждений с гарантией полноты прав местного, родного для трудовых масс края, языка во всех сферах общественно-политической работы».

Верх в этом споре возьмет Ленин. При этом к моменту создания СССР большевики в целом справятся с основной задачей – разрешить тем или иным способом межнациональные проблемы и консолидировать постимперское пространство на советских началах.

С 1923 г. проводится коренизация кадров – насаждение новых национальных элит на руководящие посты в школах, на предприятиях, в правительствах. С теоретической точки зрения, полагали большевики, национальное сознание и национальные формы организации социальной жизни – это та необходимая фаза развития, которую должны пройти «отсталые» народы на своем пути к пролетарскому интернационализму. Становление новых наций стало ассоциироваться с историческим движением вперед. Форсированными темпами выращиваются национальные элиты, национальные языки становятся официальными языками власти, создаются многочисленные письменности, не

существовавшие ранее. Всячески поощряется развитие культуры на национальных языках.

Многие исследователи – Юрий Слезкин, Рональд Суни и другие – показывают, что власть большевиков, несмотря на «интернационалистские претензии, помогла не только предотвратить вымирание наций, но даже создать их там, где их никогда не существовало». Ничего подобного нигде в подобном виде и масштабах не предпринималось. Лишь, возможно, в Индии «положительная деятельность» достигла подобного размаха, но существенно позднее – в 1950-х гг.

Сопряжение национальной и внешней политики было еще одним фактором становления «положительной деятельности». Именно внешний фактор сыграл важнейшую роль в пересмотре Лениным концепции устройства Советского государства. Международно-правовая легализация новых государств, прежде всего Украины, требовала, по мнению наркомата иностранных дел во главе с Чичериним, отказа от принципа ее вхождения в состав РСФСР на правах автономии и объединения советских республик как формально независимых на федеративных началах.

Кроме того, положительный пример нациям, «угнетаемым мировым капиталом», должен был служить идеологическим средством поддержания советской экспансии за пределы советского государства. Особенное значение придавалось нациям, разделенным советской границей. Очень скоро, однако, большевистские лидеры оказались перед вызовом победившего в центральной и восточной Европе национализма, приведшего к созданию национальных государств. Ответом на этот вызов стала репрессивная политика советского государства по отношению к ряду национальных меньшинств, выразившаяся в национальных операциях конца 1930-х и 1940-х годов. Их целью станет подавление очагов потенциальной нелояльности.

В конечном итоге формируется государство, получившее в работах Терри Мартина название «империя положительной деятельности». Происхождение этого понятия известно – здесь используется термин современной политики, отдающей предпочтение членам

этнических групп, страдающих от прежней дискриминации. Почему в этом случае всё-таки «империя»? Ведь еще в конце 1960-х было обращено внимание на то, что отношения между центром и окраинами в смысле экономической эксплуатации трудно назвать «колониальными». Большинство западных исследователей настаивает, однако, именно на такого рода словоупотреблении, а сам Терри Мартин, например, называет в одной из своих работ Советский Союз «высшей формой империализма». Автор концепта, однако, подчеркивает отличие своего подхода и не считает, что СССР принадлежал к ряду традиционных империй. Рональд Суни, напротив, настаивает, что проекты помощи «отсталым» колониальным культурам в их «развитии» – это типичный ход отживающей империи.

Однако масштаб реализуемой «положительной деятельности» на самом деле таков, что ставит под вопрос оправданность безоглядного применения к Союзу ССР того периода термина «империя». Мы вряд ли найдем другую империю, в которой безоглядная поддержка национальных культур периферии сочеталась с дискриминацией культуры титульной нации. А в раннем СССР дело обстояло именно так.

Так или иначе, но «положительная деятельность» в конечном итоге структурировала СССР как многоэтническое государство, или, если хотите, – «государство наций». Такого рода направленность политики советской власти до сих пор вызывает недоумение у некоторых зарубежных коллег. (Например, Даглас Нортроп, констатируя тот факт, что самая прямая ответственность за формирование «наций» в современном смысле в СССР лежит на большевистских вождах первых лет существования советского государства, называет этот факт «странным»).

Главным актором процесса национального строительства после смерти Ленина становится Сталин, настаивавший на проведении политики максимального развития национальных культур и формирования наций. Осуществлялась эта политика, в том числе, через административно-территориальное размежевание. Так, разделение Советского



Туркестана в 1924–1925 гг. привело к созданию полудюжины новых наций. А ведь узбеки и туркмены никогда не жили в отдельных государствах, между кыргызами и казахами не было существенных различий. Чувство национальной идентичности, помимо языка, письменности, индустрии, – это то, что оставила Советская власть в наследство многим бывшим колониальным окраинам Российской империи.

При размышлениях о советском опыте национального строительства неизбежно возникает тема «непреднамеренных последствий» этой политики. Так, насаждение национальной идентичности и ее осознание субъектами процесса очень быстро привели ее носителей к культивированию этой идентичности и противопоставлению идентичности общесоветской. Что, разумеется, не входило в планы руководства большевистской партии.

Другими важнейшими из числа таких непреднамеренных последствий стали результаты политики по «русскому вопросу». Первоначально русские оказались под ударом так называемой позитивной дискриминации. Русская культура была заклеена как культура угнетателей, борьба с великодержавным шовинизмом надолго определила поведение высших органов партии большевиков. Коренизация во многих случаях привела к вытеснению русских из сфер управления в местах традиционного их проживания, не была создана собственная коммунистическая партия, позднее, чем в национальных республиках, созданы творческие союзы. Русским не была предоставлена собственная территория в виде национально-территориального образования, более того, в ряде случаев они ее – территории – лишались. Один из ярких примеров раннего периода – переселение в 1920–1921 гг. казаков на Северном Кавказе из мест традиционного проживания (и замена их горцами). Не случайно «положительная деятельность» большевистского руководства с самого начала наталкивалась и на неприятие со стороны того самого российского пролетариата, в который должны были вливаться новые формируемые сверху национальные отряды рабочего класса. Известен инцидент 31.12.1928 г. на

строительстве Турксиба, когда 400 русских рабочих устроили погром в отношении рабочих казахских, жестко подавленный властями с применением расстрелов к вожакам. Подобная акция по отношению к защите прав ранее угнетенного меньшинства придает «респектабельный» вид национальной политике режима. Но и выявляет системные противоречия, с которыми режим так и не сумел в конечном итоге справиться.

В марте 1929 г. Сталин выдвигает тезис о формировании в СССР новых советских наций. «Социалистические нации... свободны от непримиримых классовых противоречий, разъедающих буржуазные нации», – скажет он в работе «Национальный вопрос и ленинизм». Нет, по его мнению, ничего ошибочнее, как «пытаться произвести слияние наций путем декретирования сверху, путем принуждения. Такая политика была бы равна политике ассимиляции». «Партия, – продолжит Сталин, – сочла необходимым помочь возрожденным нациям нашей страны – встать на ноги во весь рост, оживить и развить свою национальную культуру, развернуть школы, театры и другие культурные учреждения на родном языке, национализировать, то есть сделать национальными по составу, партийный, профсоюзный, кооперативный, государственный, хозяйственный аппараты, выращивать свои национальные партийные и советские кадры».

Сталин отказывается от идеи мировой революции как обязательного предварительного условия победы социализма в СССР. Он настаивает на возможности построения социализма не в мировом масштабе, а в отдельно взятой стране, и приступает, таким образом, к строительству квазинационального советского социалистического государства. «В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость», – скажет Сталин в феврале 1931 г.

В начале 1930-х гг. Сталин совершит поворот в национальной политике: сокращается количество самостоятельных национальных территорий, дезавуируется «принцип глав-

ной опасности» применительно к русской великодержавности. Сталин решит пресечь эксцессы политики коренизации. 14 декабря 1932 г. Политбюро примет постановление по хлебозаготовкам на Украине и Северном Кавказе. В нем советское руководство признает, что политика коренизации привела к усилению национализма. Вывод этот был сделан на основе анализа ситуации на Украине и Северном Кавказе. «Легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская “украинизация”... дала легальную форму врагам Советской власти для организации сопротивления», – так будет описана ситуация на Северном Кавказе и в похожих формах – на Украине. 15 декабря Политбюро официально отменит украинизацию на всей территории РСФСР.

Решения декабря 1932 г. ознаменуют поворот в национально-государственном строительстве. Вскоре вслед за этим будет осуществлен переход от поощрения национальных культур к политике консолидации, начнется «реабилитация» русских, русской истории и русской национальной культуры. В марте 1938 г. Сталин поддержит проект постановления Политбюро «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Будут повсеместно пересмотрены темпы и содержание коренизации. Сама политика отменена при этом не будет. Русские становятся «первыми среди равных» в семье советских народов, а русский язык настойчиво внедряется наряду с местными языками. Но этот поворот не был поворотом к русификации. Вплоть до смерти Сталина продолжалась политика обязательного национального языка и обязательного посещения школы на родном языке. Свертывание национального образования будет происходить в годы правления Хрущева.

Апелляция к «русскому», реабилитация традиционной русской культуры и восхваление русских как ведущей национальности станет доминантой в период Второй мировой войны.

Судя по всему, в представлениях большевистского руководства и лично Сталина изначальная стратегия по созданию госу-

дарства наций с расхолаживанием русского национального самосознания не справилась с задачей государственного строительства и перестала отвечать задачам дня. Напомним, что именно со Сталиным связан курс 1930-х на построение социализма в отдельно взятой стране, сменивший курс начала 1920-х на мировую революцию и построение всемирной республики Советов. Фактически Сталин поставил задачу построения квазинационального государства – социалистического «Государства наций».

После победы над нацистской Германией идея мировой революции будет похоронена окончательно и бесповоротно. Руководство СССР утвердится в мысли, что основная задача – строительство великой державы, призванной играть ведущую роль в мире. Задачи обретения и сохранения этого статуса становятся едва ли не главенствующими. Их реализации во многом подчиняется внешняя и внутренняя политика. Представляется, что именно в этот отрезок времени от окончания второй мировой войны до смерти Сталина и нарождается новая идентичность СССР. Для Сталина решение о насаждении режимов советского типа в Восточной Европе будет диктоваться главным образом соображениями обеспечения безопасности. Для его преемников проблема станет смещаться в сферу идеологии и противостояния двух систем.

Насаждение Сталиным великорусского державного шовинизма становится едва не доминантой политики внутренней. Восстановление русских в качестве не только восхваляемой нации, но и нации структурообразующей привело к тому, что централизованное (формально федеративное) государство стало восприниматься на субъективном уровне как реинкарнация русской великодержавной империи. Вспомним хотя бы о поздней практике преимущественного назначения вторыми секретарями органов управления ВКП(б) – КПСС в национальных образованиях именно русских. Репрессии, направленные на народы СССР, затронули небольшой процент нерусских, но стали восприниматься как проявление имперского императива.

Хрущев и Брежнев покончили со сталинскими эксцессами негативного вмешательства в области социального конструирования национальных отношений. Хотя и здесь советские лидеры не пошли до конца, отказав крымским татарам, немцам и туркам-месхетинцам в возвращении на родину. Русские остались старшими братьями, всё активнее культивировалась великорусская державность, а русификаторское давление при этом возросло. С другой стороны, продолжалась политика стимулирования развития нерусских идентичностей с громадной по своим размерам дотационной поддержкой большинства национальных республик.

Режиму не хватило интеллектуальных ресурсов вовремя осознать вызовы со стороны национализма, в 1960–1970-е уже отчетливо выражавшегося, в том числе, в коренизации снизу. Советское государство всё больше воспринималось на субъективном уровне как государство имперское.

В еще большей степени имидж империи Союзу придавала его внешняя экспансионистская политика послевоенного периода. Но устремления партийно-государственной верхушки, конечно, не сводились к вульгарному территориальному экспансионизму. Имперские устремления, если их и можно так назвать, были по-прежнему замешаны на мессианской идее осчастливить социализмом народы, территориально, экономически или политически зависимые.

В одной из недавних работ дано определение этой политики как революционно-имперской (Владислав Зубок). Но даже определяя такую политику как имперскую, исследователи продолжают говорить о ее двойственности, сопрягавшей милитаризм и империализм с марксистскими догматами

и с реальными шагами по оказанию «братской помощи», призванной способствовать приближению конечной цели – торжеству коммунизма.

Эта внутренняя двойственность, противоречивость, наличие сильного идеалистического компонента – социализма / коммунизма как земли обетованной для всех народов и практики достижения этого идеала и на внутренней, и на внешней аренах – стала сильнейшим дестабилизатором устойчивости СССР.

«Самая необычная империя в современной истории» – по выражению одного из исследователей – действительно «совершила самоубийство» (как скажет первый президент независимой Армении Л. Тер-Петросян), покончила с собой руками в равной степени и М.С. Горбачева, и членов ГКЧП, так и не решившихся в целях достижения тех или иных целей развития на масштабное применение силы – одного из главных инструментов и атрибутов имперскости.

Царская Россия не смогла выработать общенациональную идентичность, независимую, или, точнее, покрывающую религиозные, династические или государственные идентификации, наличие которых во многом и результировало в крахе империи в годы Первой мировой войны.

Похожим образом дело обстояло и в конце XX в., когда Союз ССР рухнул под напором, в том числе, но не в первую очередь, взращенных центральным правительством национализмов, полностью или частично вызревших в недрах государства наций, поскольку идеологический конструкт «советский народ» так и не стал покрывающей их общей гражданской, политической идентичностью.



## Империя в восприятии российских и британских интеллектуалов в период Восточного кризиса 70-х годов XIX века



### Empire in the Perception of Russian and British Intellectuals during the Eastern Crisis in the 1870's



*Тамара Николаевна Гелла*

*профессор, декан исторического факультета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева*

*Tamara N. Gella*

*Professor, Dean of the Faculty of History, Orel State University named after I.S. Turgenyev*

В истории XIX века империи играли значительную роль. Анализ источников показывает, что империя и интересы империи как таковые как в Британии, так и в России ассоциировались с национальными интересами. При этом они, безусловно, соприкасались с геополитическими целями и задачами обоих государств. Примером тому может служить отношение политической и интеллектуальной элиты двух стран к Восточному вопросу и русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

В 70-х гг. XIX в. понятия «Восточный вопрос» и «империя» получали среди англичан идентичное звучание. Во главе кабинета консерваторов (1874–1880 гг.) стоял Б. Дизраэли, который полагал, что главной целью внешнеполитического курса тори являлось восстановление роли Великобритании как ведущей европейской державы, которое заметно ослабло в результате правления первого кабинета У. Гладстона, и огромная Британская империя должна была служить этой задаче. Дизраэли пытался сочетать внешнюю политику с имперской, придав первой «имперские» черты и направленность, и соединить понятия «империя» и «патриотизм» воедино.

Что же касается России, то во время обострения Восточного кризиса российская имперская идеология формировалась в рамках так называемой «исторической миссии России», то есть освобождения балканских народов от турецкой зависимости. Значение Вос-

точного вопроса приобрело первостепенную важность для геополитических интересов Российской империи. Однако эта освободительная миссия России сопровождалась необходимостью решения важнейших для России внешнеполитических задач: восстановления утраченного мирового престижа России после Крымской войны и продвижения России к проливам Босфор и Дарданеллы и к Средиземному морю. Наиболее аргументированно это прослеживается в высказываниях представителей политической и дипломатической элиты. Н.П. Игнатъев, российский посол в Стамбуле, считал, что Восточный вопрос для России сводился к следующему: «Господство России в Царьграде и особенно в проливах, независимость славян в союзе и под покровительством России, по мнению каждого истинного патриота, выражает необходимое требование исторического призвания развития России» [1, с. 7].

Таким образом, национальные интересы России, как и интересы Англии, сосредотачивались в районе Балкан и носили довольно ярко выраженную имперско-геополитическую направленность. Как для Лондона, так и для Петербурга центром внимания были Константинополь и проливы. И имперские интересы должны были служить делу восстановления пошатнувшегося престижа России и Британии на международной арене.

Восточный вопрос и русско-турецкая война 1877–1878 гг. вызвали самую широ-

кую реакцию деятелей политического и общественного движения в двух государствах. Если говорить об Англии, то можно привести примеры реакции английского общества на публикацию памфлета У. Гладстона «Болгарские ужасы и Восточный вопрос» (начало сентября 1876 г.). Гладстон поставил под сомнение стремление английского правительства отстаивать подлинные интересы Британии в Юго-Восточной Европе. Он также высказывался против запугивания англичан призраком «русской угрозы» [2, с. 47–48]. Памфлет У. Гладстона получил большой резонанс в стране. Одними из последствий его публикации стали, с одной стороны, так называемая «Болгарская агитация» – движение английской общественности в поддержку балканских народов, а с другой стороны – движение джингоизма, характеризующееся антирусской и русофобской направленностью.

Именно в период нарастания шовинистического угара в стране (1877–1878 гг.) в печати развернулась дискуссия по проблемам Британской империи и ее роли в судьбах человечества. Оппонентами в ней выступили публицист Э. Дэйси и экс-премьер либералов У. Гладстон. Суть спора сводилась к тому, что, по мнению первого, господство и могущество Великобритании зависело от ее имперских позиций, в силу этого она не должна отказываться от расширения ее территорий (речь шла о завоевании Египта – *Т.Г.*). У. Гладстон же считал, что величие и благополучие английской нации находились на Британских островах, а не за их пределами. Империя, по его мнению, означала слабость для Англии. Он отрицал наличие у Британии «особых интересов» в Восточном Средиземноморье. Гладстон подчеркивал, что правительство не должно было брать на себя чрезмерных обязательств, например, аннексию новых территорий, «которые бы напоминали вступление во власть или притязания на нее» [3, с. 79–81].

Что касается отношения российской общественности к проблеме национальных интересов в период обострения Восточного вопроса и русско-турецкой войны, то можно заметить, что оно было обусловлено несколькими факторами: это и память о мно-

гочисленных войнах России с Османской империей, и стремление освободить «братьев-славян», а также всеобщим единодушным желанием восстановить международный престиж России после Крымской войны.

Отмечая единство правящей элиты и российской общественности в вопросе об освобождении балканских народов, можно отметить ряд спорных вопросов, дискутируемых в обществе, например, вопросы о целях российской политики на Балканах. Идеи панславизма стали главными популяризаторами идеологии «славянского братства». Славянофилы видели в войне выполнение особой исторической миссии русского народа, заключавшейся в сплочении вокруг России славянских народов на основе православия. Этой точки зрения придерживались, например, И.С. Аксаков, Ф.М. Достоевский. Последний являлся сторонником идеи не просто захвата столицы Турции – Константинополя, а переноса столицы России в эту «колыбель православия». На страницах «Дневника писателя» он пишет, что никто иной, но именно Российская империя «как предводительница православия, как покровительница и охранительница его» может и должна возратить Константинополь. Он был сторонником войны и с националистических позиций пытался оправдать военные действия России [4, т. 22, с. 126; т. 26 с. 83–85; 5, с. 111]. Идеи христианства и мессианства преобладают в этом подходе к Восточному вопросу.

Иной точки зрения придерживались западники. Они, например в лице И.С. Тургенева, отрицали значение мессианского, религиозного аспекта и считали, что целью войны является не защита православия, а освобождение болгар. В целом в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. четко обнаруживалось соотношение интересов внешней политики, как их понимало руководство страны (по преодолению последствий Крымской войны), с идеологией освобождения южных славян, которая объединяла российское общество [6, с. 212, 252].

В итоге можно констатировать, что имперские идеи получили распространение как в Великобритании, так и в России. Восприятие

империи в двух странах характеризовалось специфичностью, которая заключалась в том, что они соотносились с национальными интересами каждого из государств и во многом сходились на Балканском полуострове, который в геополитическом аспекте выступал важнейшим фактором в решении их внешнеполитических задач. Другой особенностью распространения имперских / националисти-

ческих идей была соприкосновенность позиций власти и общества. С одной стороны, общественные круги России и Британии находились под влиянием националистических идей, пропагандируемых проправительственными структурами, а с другой стороны – эти общественные силы оказывали давление на свои правительства, с которым последние вынуждены были считаться.

## Литература

1. **Н.П. Игнатьев**  
*Походные письма 1877 года. Письма Е.Л. Игнатьевой с балканского театра военных действий*, РФ, Москва, РОССПЭН), 1999, 338 с.
2. **W.E. Gladstone**  
*Bulgarian Horrors and Russia in Turkistan: With Other Tracts*, Deutsches Reich, Leipsig, Bernhard Tauchnitz Verlag, 1876, 272 S.
3. **Т.Н. Гелла**  
*У. Гладстон, либералы и Британская империя в последней трети XIX века: монография*, РФ, Орёл, Изд. ОГУ, 2008, 294 с.
4. **Ф.М. Достоевский**  
*Полн. собр. соч. в 30 тт.*, СССР, Ленинград, Изд. Наука, Ленинградское отд., 1972–1990.
5. **Ф.М. Достоевский**  
*Собр. соч. в 9 тт., т. 9, кн. 2, Дневник писателя*, РФ, Москва, Изд. АСТ, Астрель, 2007, 528 с.
6. **И.С. Тургенев**  
*Полное собрание сочинений и писем в 30 тт., Письма, в 18 тт., т. 15, кн. 1, Письма, 1876 г.*, РФ, Москва, Наука, 2012, 580 с.



## Science at the Royal Society's Tercentenary, 1960: International, Universal, Inductive



### Научные исследования в трехсотлетней истории Королевского общества до 1960 г.: международные, универсальные и индуктивные методы



*Tim Boon*

*Head of Research and Public History, Science Museum Group*

*Тим Бун*

*глава Отдела по поддержке научных грантов*

*и общественной истории, Объединение научных музеев*

My paper reflected historically on a particular statement of scientific internationalism, the documentary film *A Light in Nature*, made to mark the 300<sup>th</sup> anniversary of the Royal Society of London in 1960. In talking about this film from the British Film Institute Archive, I aimed to exemplify a kind of collections-based and interdisciplinary research that AHRC Independent Research Organisations can particularly promote. I showed the way in which the film represented the scientific enterprise, including some brief comments on how it related more broadly to the Royal Society's view of science in the quarter century from the end of the Second World War. I also described how the style of the film conveys its particular view of science.

#### **The Account of Science in *A Light in Nature***

Before the gala film performance at London's Royal Festival Hall as part of the celebrations of the Royal Society's Tercentenary on the 22<sup>nd</sup> July 1960, the Royal Society had shown little interest in the potential of cinema to promote science. The main event at the gala was the 35-minute documentary *A Light in Nature*, the first film directed by Ramsay Short, who later directed Horizon programmes for the BBC. The proposal from the highly respected film unit of the Shell Oil Company described the film's object as being: "to give a selective panoramic view of the development of scientific thought

and its application, in relation to the events of the time, throughout the last three hundred years" [1]. My paper covered three aspects of the film's account of science: its continuity with its historical roots (its universalism, if you like); its internationalism; and its identity as a curiosity-driven inductive enquiry into "fundamental problems" of understanding nature.

The first of its key characteristics is an insistence on the continuity between science at the time of the foundation of the Society in the 17<sup>th</sup> century and that being practised in the 20<sup>th</sup> century, which was also a feature of the broader tercentenary celebrations. This insistence on timelessness of science starts with the title of the film; "a light in nature" is a phrase from Francis Bacon, the 17<sup>th</sup> century natural philosopher, a key reference point for the founders of the Society. The commentary asserts: "Francis Bacon caught the spirit of this quest; «If a man could succeed, not in striking out some particular invention, but in kindling a light in Nature, in ringing a bell to call other wits together, he would disclose all that is most hidden and secret in the world»". The film includes historical figures – Descartes, Galileo, Newton – as if there were no difference between the natural philosophy of the past and the science of the present. The commentary starts: "Order your thoughts. The philosopher Descartes insisted on it. «Begin with the most simple objects so as to rise as if by steps to

knowledge of the most complex». This section culminates with the assertion: “Yesterday this was called the experimental philosophy; now we call it science”. There follows a sequence that traces science back to the Ancient Greeks, then via the usual litany of astronomers – Copernicus, Brahe, Kepler, Galileo, culminating with Newton and his much-quoted assertion, “I seem to have been only like a boy playing by the seashore, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me”. From there, the film goes straight to contemporary particle physics, inferring a connection between the long history of natural philosophy and contemporary science. Throughout, the film time and again returns to historical precedents, consistently to assert continuity, rather than difference as the historian would.

The second aspect of the film’s characterisation of science is the emphasis on its international nature. The opening sequence, for example, features Scotland, Bombay, California, Cambridge, and an unnamed ocean. Then again, in the second half of the film, there is a sequence where the visuals are borrowed from the *Alert!* the Russian 1959 official film record of their contribution to the International Geophysical Year (1957–1958) [2]. International examples are presented throughout.

The third trope is the way that the film portrays science as “pure” rather than applied. The postwar period produced many overlapping terms for this: curiosity-driven, pure, fundamental, basic; all with their particular local meanings. The film is more indirect; Royal Society President, Cyril Hinshelwood, in a short piece to camera, does use the phrase “converging attacks on *fundamental problems*” but generally it is the film’s whole technique that conveys its view of pure science (see below). We see science being done – scientific method at work, if you will. Certainly, all its examples are varieties of “basic” science: astronomy, particle physics, the electrical properties of plants, electroencephalography, DNA. In fact, the view of contemporary science conveyed in the film is very much in accord with the famous American postwar scientific creed enunciated in Vannevar Bush’s 1945 statement, *Science the Endless Frontier*, which Roger Pielke

has called “the beginning of modern science policy”. Bush wrote: “Scientific progress on a broad front results from the free play of free intellects, working on subjects of their own choice, in the manner dictated by their curiosity for exploration of the unknown” [3–5].

That’s what you also see in the film.

### ***A Light in Nature* and the Royal Society’s Public Relations in 1960**

The tercentenary was a major part of determined attempts by Hinshelwood, President since 1955, to turn the Society somewhat away from its well-known elitism and aloofness and to become more outward-looking. He sought to portray the Society as sitting at the centre of both the global scientific community and of the British establishment. The film’s internationalism was very much in tune with the postwar spirit of the society; as Peter Collins has argued:

“Over a period of about two decades, from the mid-1950s to about the mid-1970s, it became common wisdom that aspects of international science and aspects of foreign policy were or could be interlinked to mutual advantage. By the same token, it became clear that science was too important to be left to the whim of consenting scientists. International science had to accommodate the exigencies of international politics, just as international politics had to accommodate the process and progress of science” [6, p. 155].

But the archive reveals that Shell approached the Royal Society with the offer of a film, not that the Society commissioned the film from Shell. Shell’s motivation is patent. The gala’s leaflet, produced by Shell, gives their reasoning: “In these fundamental sciences technological industry is based The Tercentenary of the Royal Society cannot pass, therefore, without industry’s acknowledging the value of this heritage. It is still the unclouded inspiration of the laboratories where natural knowledge is pursued for its own sake”.

And then it makes the link, and the case: “just as industry interprets their findings to the world by practical applications, so it may be an appropriate compliment on this occasion [for industry] to offer an interpretation of science’s



processes and thought and of the position it occupies on the frontiers of knowledge today”.

The film makes the argument for “curiosity-led” science, but for Shell, that leaves the field clear for industrial companies such as their own to pursue its application. As a multinational company, it was in their interests to support fundamental science, at the same time that their wealth as a company enabled them to fund the production of such an expensive film to promote their view, and their distributed international operation gave them access to sites across the world for filming. Science is international not simply because, as the film says, its method is eternal and it occurs across the world, but because it is also part of international business.

### How the Film Works

It is worth considering the style of the film, that is how it puts across its account of science. *A Light in Nature* is very much a “prestige” documentary, a high-status form, where extra expenditure was made for the sake of the subject’s perceived importance: on high production values, music, international shooting, archive. The film uses the “impressionistic” style of documentary filmmaking to create an emotional response in the audience, rather than an explicit structured argument. Its impression is created by a combination of the quality of the camerawork, the pace and style of the editing, and the composition of the soundtrack, and a generous length of 35 minutes. The sonic elements are particularly significant in this film, perhaps more important than the visuals. The decision to spend significantly on composer (Humphrey Searle), conductor and orchestra for a bespoke musical score is evidently hugely impactful on the film’s effectiveness. Furthermore, the tone of the commentary – male, authoritative, informative and non-continuous – has real impact. The words spoken are in the “poetic” documentary style, an established genre generally traced back to WH Auden’s contributions to the 1936 film, *Night Mail*. In *A Light in Nature*, the very grammar and texture of the words create a collage of assertions that, rather than presenting a structured argument, gesture to particular interpretations,

but in a way that is rarely explicit. At the end of a film using such a collage technique, I think the audience member would be excused for feeling that they’d had an agreeable experience without being able to recall very much about what it says.

### Conclusions

It is clear that in the postwar period, when science was truly coming into its own as a major force in the world economy and international relations, it was necessary for scientific organisations to develop public relations practice to a greater extent than before. And in an era in which for many people the power of science was defined by the Atom Bomb, the way in which science was represented in public was important. What science was that it could produce such dramatic effects led to the need to represent it, but with care. Many organisations and individuals were keen to do this work; not just the Shell oil company, but also the BBC and the Science Museum, to mention a couple that I’ve studied.

The AHRC – RFBR conference brought together several varieties of history. My own sub-discipline, the History of Science, is a humanities discipline that really emerged in the 1960s. As the film *A Light in Nature* has grown old, my discipline has grown up, and its study of science as a social and cultural phenomenon would provide any current day film producer with a much wider range of narratives than were available to Ramsay Short and the Shell Film Unit nearly 60 years ago. Certainly, my disciplinary colleagues would argue:

- Whereas the film presents natural philosophy as the same as science, modern technoscience is really radically different from the Baconianism of the early Royal Society, and that we wouldn’t want them to be the same;

- Equally, whilst science’s internationalism is of great interest, there is as much scholarly interest in what makes scientific practice distinct at the local level;

- At the same time, science is generally seen as rarely “pure”, but as deeply imbricated in application, practice and human values, rather than being a value-free pursuit of abstract knowledge with application as its separate sequel.

## References

1. *Copy of correspondence referring to the proposal for a documentary film*, 27 November 1958, Lawrence Bragg papers, Royal Institution Archives, TC/6 (58), RI MS WLB 63.
2. *Information on "Alert!" film by Moscow Popular Science Film Studio*, Collections Search, BFI.
3. *Science The Endless Frontier: A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development*, July 1945, United States Government Printing Office, Washington: 1945. (<https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm>).
4. **D.J. Kevles**  
*Isis*, 1977, **68**(1), 5. DOI: 10.1086/351711.
5. **R. Pielke Jr**  
*Nature*, 2010, **466**(7309), 922. DOI: 10.1038/466922a.
6. **P. Collins**  
*The Royal Society and the Promotion of Science since 1960*, UK, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 333 pp.  
DOI: 10.1017/CBO9781139248884.



## The Cold War in Museums: Using Artefacts to Tell Twentieth-Century History



### Холодная война в экспозициях музеев: использование музейных коллекций, отражающих историю XX века



*Samuel JMM Alberti*

*Keeper of Science & Technology, National Museums Scotland;  
Honorary Professor, University of Stirling Centre for  
Environment, Heritage and Policy*

*Сэмюэль Альберти*

*Руководитель направления науки и техники,  
Национальные музеи Шотландии;  
Почетный профессор Университета Стерлинга, Центр  
окружающей среды, наследия и политики*

In 1964, personnel at the American Submarine base at the Holy Loch registered a Polaris Military tartan. Its background is navy blue and dark green to represent the naval uniform and the depths of the oceans; it has Royal blue and gold over-checks for the alternating “Blue” and “Gold” crews. National Museums Scotland (NMS) seeks to collect this fabric to evidence the complex legacy of the Cold War: one artefact exhibiting a global phenomenon manifested locally, a blend of military and civilian, art and technology.

These roundtable meetings have vividly shown the long and varied history of the relationship between the United Kingdom and Russia. Never perhaps has the connection between the countries been so charged as the chill, four-decade deadlock of the Cold War, which has a large and sophisticated associated scholarship. It impacted on the lives of all who lived through it in both nations, and yet as generations emerge with no memory of it, the public history of the Cold War is uneven.

The Cold War poses particular challenges for heritage practitioners, not least because in Europe and North America, although the Cold War never turned hot. It was a complex phenomenon – an “imaginary war”, part high politics, part local endeavour. This makes it difficult to represent in museums, and it has a lower profile public history profile than the two World Wars (especially the Great War after four years of centennial commemoration). This is not

necessarily through lack of collections, but rather because of the contested nature of the Cold War, the lack of simple narratives, and insufficient inter-disciplinary joining-the-dots. The World Wars abound with stories of heroism, sacrifice and victimhood for museums to display; the Cold War’s material cultures are more ambiguous. Thirty years after the fall of the Berlin Wall, in a climate of renewed global tension, museums are planning to develop or re-develop their public offer for the generation who did not live through the conflict and to capture the experience of those who did.

At NMS we are working with University of Stirling as well as heritage and university partners in the UK and beyond to analyse how museums have told Cold War stories. This will help us to evaluate how museum objects can be used to display recent history, and more broadly to understand the use of things in historical research and engagement: *material historiography*.

In the UK, the current heritage offer includes the Imperial War Museums at Duxford, the National Cold War Exhibition at Cosford (part of Royal Air Force Museums) and the National Museum of Flight near Edinburgh, one of National Museums Scotland’s sites (*fig. 1*). For the most part, the Cold War is experienced via large technology, for example with the powerful materiality of the V-Force Bombers. Likewise in Russia Federation, models of the “Joe-1” Soviet atomic bomb on display in several sites round Moscow offer a particular perspective on



Fig. 1. Avro Vulcan Bomber B.2 XM597, 1963, on display at the National Museum of Flight. National Museums Scotland T.1984.47.1.

the conflict. And in both countries, less formal heritage offers may be found in subterranean sites such as “Scotland’s Secret Bunker” in Fife or “Bunker-42” in suburban Moscow. They seek more overtly to capture the anxiety induced by the prospect of nuclear attack.

The material culture of the Cold War is not however limited to bunkers and bombers. The stuff of civil readiness, art, domestic life, peace and protest is sometimes on display – including for example the V&A’s *Cold War Design* (2008–2009). More often these items can be found in museum depots or stores. Available for research use, these “reserve” collections quantitatively outnumber the material on display many times over. To appreciate the potential for material culture to help us understand the Cold War (or any other historical phenomenon) we can and should turn to these other collections, the iceberg below the surface.

At NMS, for example, the National Museums Collections Centre houses a collection of memorabilia donated by Scottish peace campaigner Kristin Barrett (fig. 2). Collaborative doctoral student Sarah Harper is working with me alongside Professors Holger Nehring and Siân Jones of the University of Stirling, using this and other material to tell the story of the Cold War in Scotland. Nuclear disarmament badges can reveal the impact of the conflict on everyday life and the specific local narratives, such as the 1982 Peace March Scotland.

We can juxtapose this with other collections evidencing the Cold War in other walks of life:



Fig. 2. An improvised rattle from 1982 donated by Scottish peace campaigner of Kristin Barrett. Photograph by Sarah Harper; National Museums Scotland X.2019.366.

chemical suits and hand-weapons in the military collections; the entire contents of a Royal Observer Corps bunker to evidence Civil Defence; Soviet memorabilia in the Art & Design collections; covert audio devices in the Communication Technology collection; Rocketry and computing in the Science collection; material evidencing civil and military development of nuclear power at the Dounreay (part of the growing field of “Nuclear Cultural heritage”). They are supported by extensive multi-media assets: oral histories, film, photographs and print paraphernalia. Other institutions on both sides of the Iron Curtain have just as rich inter-disciplinary collections if we go looking for them. Combining them gives us a wider, more nuanced history of the experience

of this global phenomenon beyond high politics and the military-industrial complex that dominate our understanding of the relationship between Britain and Russia.

The University of Stirling and National Museums Scotland have a collaborative research programme in development to interrogate these objects and their collections; how they are and

could be displayed; and how museums visitors respond to them. This will promote knowledge transfer between higher education and heritage sectors using material culture. We aim to enrich the historiography of the later twentieth century history using previously under-valued material culture, and in turn to bring a broader Cold War history to bear in museums.



## Социокультурные вызовы XX – XXI веков и научная дипломатия



### Sociocultural Challenges of the 20<sup>th</sup>–21<sup>st</sup> Centuries and Science Diplomacy



*Вера Ивановна Заботкина*

*профессор, проректор по международному сотрудничеству  
РГГУ;*

*Руководитель научно-образовательного центра когнитивных  
программ и технологий РГГУ*

*Vera I. Zabortkina*

*Professor, Vice-Rector for International cooperation;*

*Director of Centre for Cognitive Programs and Technologies, Russian  
State University for the Humanities*

В статье представлено новое междисциплинарное проблемное поле в гуманитарном знании, разработкой которого занимаются представители различных областей научного знания – истории, социологии, психологии, политологии, социолингвистики, когнитивной лингвистики, нейронаук, семиотики, нарратологии и дипломатии. Акцент делается на необходимость создания нового интегрированного знания в области социокультурных угроз, а также на выявление того, как ученые и дипломаты совместными усилиями помогают разрешить конфликты на транснациональном уровне.

В современном мире, который становится всё более незащищенным и хрупким, необходимо объединение ученых различных областей знания из различных стран мира для поиска ответов на большие вызовы и угрозы XXI века.

Как известно, современная наука должна отвечать требованиям трех следующих условий: она должна быть международной, междисциплинарной, межсекторальной.

Наука по своей сути является международной. Напомним в этой связи слова А.П. Чехова о том, что «не существует национальной таблицы умножения». Научная кооперация способствует ведению диалога на международном уровне. Участие представителей научных организаций и университетов в научных коллаборациях и предприятиях

укрепляет имидж страны, продвигает ее позиции на мировой арене, содействует укреплению ее деловых и гуманитарных связей.

Современное состояние развития общества и науки характеризуется переходом к новой модели порождения и передачи знания. Традиционная форма порождения знания, известная как монодисциплинарная модель, является узкоспециальной, гомогенной, иерархической и определяется, как правило, академическим сообществом.

Новая, междисциплинарная, модель порождения знания генерируется в прикладном контексте и не укладывается в ячейки конвенциональной, дисциплинарной карты. Эта модель гетерогенна – она объединяет множество навыков и умений и вовлекает разнообразные источники знания. Данная модель, в отличие от традиционной, имеет гетерархическую структуру, то есть подвержена изменениям и не следует заранее определенной системе организации знания (Novotny et al).

Вторая модель знания более рефлексивна, расплывчата и в большей мере социально контекстуализирована. Она показывает, как социальные практики, такие как генерация знания и дискурса, отражаются на социальных акторах (участниках социального взаимодействия). Именно в рамках данной модели необходимо искать ответы на вызовы XXI века.

Проблема угроз и рисков, связанных с этими угрозами и с особенностями их предотвращения, привлекает большое внимание научных кругов и общественности. Подобный интерес обусловлен значительным обострением общей международной обстановки, появлением и распространением угроз, которые чреватые для всего мира. XXI век вместе с прогрессом цивилизации принес и новые виды угроз. Среди многочисленных социокультурных вызовов современности стоит упомянуть такие угрозы, как пандемии, изменения климата, старение населения планеты, потеря идентичности, разрушение семьи, перестройка традиционной шкалы ценностей (деаксеологизация), разрушение норм межличностного, межкультурного и транснационального общения. Речь идет также об угрозах цифрового мира, но не только. Мир стал «нечеловекомерен».

В последней книге Стивена Хокинга «Короткие ответы на большие вопросы» (“Brief Answers to the Big Questions”) он предупреждает об опасности цифрового мира. Он пишет о том, что в Кембридже открыта лаборатория, которая изучает возможности противостояния угрозам цифрового мира. Это, конечно, парадокс. С одной стороны, искусственный интеллект – это прогресс, но с другой стороны, как об этом писал Роберт Музиль: «Прогресс – это мощь, которая постепенно перерастает в немощь». В последнее время ученые говорят о «коллаборативном интеллекте», когда искусственный интеллект рассматривается в качестве партнера, а не замены интеллекта естественного. В научном мире многих стран резко усиливается анализ происхождения угроз и вызовов, их развития, появления на их основе конфликтных ситуаций. Они сопровождаются настроениями тревоги у людей разных возрастов на всех континентах.

Успехи и достижения ученых требуют указанного выше междисциплинарного подхода, объединения усилий специалистов разных областей знания. Подобный подход объясняется не только общим значением междисциплинарных методов, но и комплексным и противоречивым характером

угроз и рисков, их возможного предупреждения и минимизации пагубных последствий.

В этих исследованиях необходимо объединение политологов, рассматривающих системный характер угроз, историков, анализирующих историческую динамику и опыт предшествующих эпох, социологов, изучающих влияние угроз на общественное сознание и в целом на общество.

В последние годы в эту работу включились также ученые, занимающиеся когнитивными методами, для которых важно изучать индивидуальное сознание, генетическое строение и особенности процессов, происходящих в мозгу человека, своеобразие его психологического мира. Ученые-когнитологи пытаются ответить на вопрос о том, каков характер когнитивной обработки информации, содержащей угрозу, каким образом происходит концептуализация угроз и дальнейшая их вербализация в дискурсе.

Проблема поиска ответов на основные вызовы и проблемы глобального развития невозможна без привлечения научной дипломатии.

Научная дипломатия – концепт не новый, но с 2010 года наблюдается его «ренессанс» в связи с появлением совместной книги Королевского общества Великобритании (Royal Society) и Американской Ассоциации по продвижению науки (American Association for the Advancement of Science). Эта публикация открыла новый этап в развитии научной дипломатии.

Роль научной дипломатии значительно повышается как в современной Великобритании, так и в России. В «Концепции международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации», где перечисляются основные направления развития международной кооперации, особое внимание уделяется вопросам развития механизмов научной дипломатии как ведущего гуманитарного направления в международном научно-техническом сотрудничестве. Как известно, в научной дипломатии выделяются три аспекта:

а) «дипломатия для науки» – дипломатия может способствовать международному научному сотрудничеству;

б) «наука для дипломатии» – научное сотрудничество может улучшить международные отношения;

с) «наука в дипломатии» – наука может давать рекомендации для информирования и поддержки целей внешней политики.

Данный подход является на сегодняшний день наиболее универсальным. Он позволяет как России, так и Великобритании активно присутствовать в глобальной архитектуре международных научно-технических отношений.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на проект по научной дипломатии InsSciDE (“Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”), который реализуется в рамках программы научных исследований Евросоюза «ГОРИЗОНТ 2020» (“Horizon 2020”). Проект координируется ЮНЕСКО и Университетом Сорбонна (Франция). В число 16 европейских университетов – членов Консорциума входит Манчестерский университет из Великобритании. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) является единственным российским университетом, участвующим в проекте.

В рамках данного проекта в качестве удачного примера научной дипломатии рассматривается совместное освоение космоса учеными из России и США. В частности, приводится пример совместного полета космического корабля «Союз – Аполлон».

Проект направлен на выявление того, как ученые вместе с дипломатами помогают продвижению науки, технологий и инноваций, и каким образом совместные усилия ученых и дипломатов помогают разрешить конфликты на международном уровне. Среди основных рабочих пакетов данного проекта выделяются следующие: культурное

наследие, безопасность, здравоохранение, охрана окружающей среды, космос. Манчестерский университет является координатором рабочего пакета по охране окружающей среды.

Приведу несколько удачных примеров научной дипломатии между Россией и Великобританией. Прежде всего речь идет о мероприятиях, проведенных в рамках российско-британских перекрестных годов: Года культуры (2014 г.), Года языков и литературы (2016 г.), Года науки и образования (2017 г.), Года музыки (2019 г.).

В рамках российско-британского Года культуры (2014 г.), а также Года языков и литературы (2016 г.) в РГГУ состоялись конференции и встречи, в которых приняли участие ведущие ученые-лингвисты, литературоведы и писатели из Великобритании и России.

Особого внимания заслуживают также такие проекты, как “Future Science” и “Research Connect”. Программа “Future Science” направлена на установление научных связей, развитие сотрудничества между российскими и британскими молодыми учеными. В рамках программы «Research Connect» проводятся семинары для молодых ученых, готовящих публикации совместных научных статей в международных рецензируемых журналах, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science. Один из таких семинаров прошел в РГГУ в 2018 г.

В основе всех перечисленных успешных примеров научной дипломатии лежит межкультурный диалог. Русский философ и филолог Михаил Бахтин, один из авторов «теории диалога», говорил о том, что диалог – это не всегда консенсус, диалог может привести к столкновению мнений. Но только в диалоге рождается истина.





## Влияние английской общественной мысли на складывание нового критического дискурса в России конца XVIII – начала XIX в.



### The Influence of English Social Thought on the Formation of a New Critical Discourse in Russia of the Late 18<sup>th</sup> and Early 19<sup>th</sup> Century



*Ирина Павловна Кулакова*

*доцент,*

*Исторический факультет Московского*

*государственного университета имени М.В. Ломоносова*

*Irina P. Kulakova*

*Associate Professor,*

*Faculty of History, Lomonosov Moscow State University*

Будучи историком культуры, я хочу продемонстрировать динамику взаимосвязей наших двух стран и обратиться даже не к XIX веку, а опуститься глубже.

Начну с такого банального утверждения, что Британия и Россия (с точки зрения цивилизационной теории) принадлежат к разным цивилизациям. В раннее Новое время начинается знакомство, а затем общение и сближение двух культур, и чем дальше, тем скорее оно происходит. Но период, с которого я хочу начать (начало XVII века), – это время, когда, казалось бы, эта разница была вопиющей. Тем не менее развивались как связи на государственном уровне, так и коммуникация на уровне человеческом. Напомню, что в конце правления царя Бориса Годунова несколько молодых россиян были отправлены в Британию для получения образования. Кончилось это тем, что они в Россию не вернулись (там сменилась власть, началась Смута). Но примечательно одно: они отлично «встроились» в культуру Британской империи, кто-то из них работал в Ост-Индской компании, кто-то стал пастором, кто-то – торговцем. Это говорит о том, что принадлежность к разным цивилизациям для сотрудничества не фатальна, и если мы говорим о цивилизационной специфике, то речь идет именно обо всем социуме, его культуре и социально-экономических

устоях. Следует сказать, что развитие этих связей приносило всё больше точек соприкосновения. Показательны высказывания англичанина Сэмюэля Пипса из его дневника за 1662 год: наблюдая за въездом в Лондон русского посольства (*рис. 1*), он описывает движение свиты в длинных одеждах, меховых шапках («красивые, статные», «на вытянутой руке у многих ястребы в подарок нашему королю»). И добавляет: «Но, Боже! Сколь же нелепо выглядим мы – англичане, подвергая осмеянию всё, что представляется нам непривычным». Вот такое интересное высказывание англичанина середины XVII века, который уже ощущает разницу культурных типов, но при этом признает самодостаточность каждого из них.

Можно утверждать, что на протяжении XVIII века, и особенно к его концу, связи усложняются, внимание к британской общественной мысли и культуре в России возрастает. Я бы хотела коротко остановиться только на некоторых направлениях влияния. Прежде всего это, конечно, переводная литература как путь трансфера практик и идей, которым сейчас очень много занимаются историки. Собственно говоря, даже не общественно-политические трактаты, а именно литература, наполненная ранненововременными идеями, служила тем каналом, через который в рос-



Рис. 1. Групповой портрет участников русского посольства 1662 г. в Англию; неизвестный английский художник, вероятно, 1662 г. Изображены: князь Петр Семенович Прозоровский, дворянин Иван Афанасьевич Желябужский, дьяк Иван Давыдов и переводчик Андрей Форот.

сийское общественное сознание вливались новые установки. И прежде всего хочу сказать о Британском юморе. Английские романы Свифта, Смоллетта и др., близкие к жанру памфлета, появляющиеся еще в XVII веке, в веке XVIII в переводах попадают в Россию. Английские сатирические журналы Стилля и Аддисона «Тэтлер» («Болтун») и «Спектэйтор» («Зритель»), которые издавались в Британии в 20-е годы XVIII века, начинают использоваться как образцы в становящейся русской журналистике (несколько позже – в 1770–1780-е годы). И перевод статей, подражание этим статьям в российских журналах порождает совершенно новый критический дискурс. Причем это не калька: используются только те приемы, которые попадают в цель. В инокультурной среде эти идеи начинают порождать новые логические связи, происходит их адаптация.

Знакомились с этими материалами немногие: «продвинутые» читатели и тончайший слой российской «фронды», который

противостоял традиционным установкам и ценностям, которые царили в обществе. Мораль же, которая транслировалась через журналистику, по своей сути являлась новой бессловесной моралью, которая начинала распространяться в российском обществе благодаря, в частности, изданию сатирических журналов. Это «не совсем смешной», а скорее нравоучительный смех, нацеленный на «исправление недостатков».

Российская цивилизация не имела аналогичного устоявшегося дискурса (лишь в XVII веке развивается городская сатирическая повесть, захватившая тогда всю восточную Европу и российский город в том числе). И здесь хотелось бы акцентировать вопрос о разграничении категорий «смеховая культура» и «эстетика комизма» с многообразием их проявлений. Тип смеховой культуры, которая характерна была для Руси / России с древнейших времен и позднее, как утверждают специалисты, специфичен. Это такой смех, который выражался в *антиповедении*. В православной традиции признавалось только два культурных начала: мир христианских ценностей и антимир – «бесовское начало». Промежуточного, третьего компонента, который присутствовал в культуре европейских стран (карнавальная культура и т. п.), в русской традиции, как утверждают специалисты, не было. Проявления народной смеховой культуры продолжали, тем не менее, существовать, но – как явления маргинальные; «смеховые» скоморошьи действия всячески изгонялись из обихода, но всё равно были распространены.

Представители церкви со всей энергией восставали и против театрализованных лицедеев. Начиная с XVII и затем в XVIII веке народная комедия, развивавшаяся в жанре «интермедии», находилась в России под сильным влиянием итальянского театра. И именно итальянская перформативная культура предлагала более приемлемые для широких кругов российского населения смеховые формы. Народу был очень близок этот театр масок с его импровизациями, с соучастием всех зрителей. При этом и дворянство не чуралось этой традиции (представления о полном

разрыве в России XVIII века традиций элитарной и народной сейчас кажутся устаревшими). Таким образом, культурные взаимодействия, новые установки накладывались на старые и делали их более «объемными».

Английская и французская культура просветительской сатиры, которая приходила через тексты, затронула российскую интеллектуальную элиту (включая императрицу Екатерину II). Сатира журнальных статей, затрагивающая социальные проблемы, подталкивала к размышлению, и мы видим, что дворянские российские писатели начинают порождать оригинальные тексты – тексты социально ориентированные и критические. Я имею в виду Кантемира, Новикова, Капниста, Радищева и др. Но, конечно же, эти культурно-философские идеи распространялись все-таки в не слишком широком слое читателей. (Важно было развивать практики массового чтения, и в этом средние слои отставали по сравнению с англичанами: Карамзин писал, путешествуя по Британии, что он видел, как крестьяне читают газеты, – о российских крестьянах этого сказать было нельзя даже в начале XX века).

Существовали и другие способы и пути влияния английского на российское сознание уже на уровне повседневности, и некоторые я бы хотела отметить. Именно из Британии распространялась по Европе новая тенденция потребления, которая противоречила «феодалному», демонстративному потреблению, роскошеством, излишеством и так далее. В России XVIII века культура демонстративного потребления преобладала среди дворян, в придворном обществе. Но примерно с последней четверти XVIII века (судить мы можем по портретам россиян) видно, как появляются типажи, сопоставимые с типажами английских интеллектуалов. Так, глядя на портрет Н.И. Новикова (работы Левицкого), мы замечаем его скромнейший сюртук; показателен также и письменный стол, на фоне которого герой изображен.

Еще один тип портрета, который распространяется в это время в России и который испытывает уже влияние не только британское, но вообще европейское в целом, – это

портрет *в халате*. Русское дворянство оценило этот способ позиционирования себя как частное лицо. Портретов «в халате» множество, и это портреты в домашней обстановке в состоянии раздумья, размышления, за письменным ли столом или просто в кабинете (который как личное пространство тоже развивался в России как новшество). Всё это говорит о том, что отношение человека к «одинокости», к самодостаточному уединенному творчеству распространяется (в том числе из Британии) и усваивается в России дворянством, и не только им. (Визуальная информация здесь дает уникальный материал, по другим источникам зафиксировать это трудно).

Еще одно новшество – новый стиль мебели и устройства обихода интеллектуальной элиты: благосостояние репрезентируется не через пышность, но через демонстрацию удобства, безопасности, изящной простоты. Это именно новая *английская* роскошь, которая появляется в конце XVIII века и дальше развивается в первые десятилетия века XIX. Культурное влияние идет через образцы, которые воспринимаются как наблюдения путешественников (или через распространение изображений): тонкое белье ценится больше, чем кружева; полезные блюда более, чем роскошные и изысканные; функционально устроенная усадьба больше, чем роскошные дома; удобная мебель, гигиена и так далее.

Новшества достигают России, и уже, например, в первое десятилетие XIX века мы видим, что они начинают приниматься как тактика самопрезентации. В России растет слой англоманов, и среди них – Павел Петрович Свиньин, российский дипломат, писатель, совершивший в 1806–1813 гг. ряд морских и сухопутных зарубежных путешествий (в Средиземноморье, в Испании, в США, в Англии). Странствия Свиньиных закончились в 1818 г., тогда же было положено начало его карьере литератора и издателя. Хорошо знающий английский язык, он в Англии проявил себя прекрасным наблюдателем.

Во-первых, его привлекли верность англичан своим национальным традициям и их внимание к старине – тенденции антиква-

рианизма, который уже не первый век развивался в Британии. В России эта практика сохранения исторической памяти до XVIII в. не успела развиваться, поскольку сохранялось совершенно иное отношение к древностям и редкостям (реликвии Оружейной палаты – это был не музей и даже не коллекция в ранненововременном смысле слова). Попытка Свиньина создать «национальный музей» должна была прославить историю России, доказать, что и здесь имеется своя древняя национальная традиция, которая никогда не прерывалась.

И другое, что Свиньин почерпнул в Англии, – это техницизм, отсюда его страсть к поиску в России изобретателей, любителей техники и самородков, а также покровительство им.

Таким образом, общение культур давало представление об актуальных тенденциях, которые становились руководством к действию относительно небольшого слоя российских интеллектуалов. Но при всех усилиях, при всем желании с помощью сатиры воспитать добродетельных помещиков, организовать Вольное экономическое общество, продвигать новые машинные технологии и так далее было очень сложно повлиять на ситуацию в целом.

И вообще, возможности изменений были очень ограничены потому, что суще-

ствовала инерционность экономики России как аграрной страны, где крестьянство составляло около 90%. Еще большей проблемой было желание изменить эту большую, статичную социальную группу – крестьянство. Я приведу последний пример, очень показательный. Путешествующий дворянин начала XIX века возвращается из путешествия по Европе и рассказывает своему приятелю помещику о впечатлениях. Он поучает: «Что ж у тебя усадьба полна дворовыми, слугами?! Вот я был за рубежом, там в доме несколько камердинеров, и всё прекрасно устроено». А приятель на это отвечает: «А куда я их дену, этих дворовых? В деревню я их отправить не могу – они ж ничего делать не умеют!» Таким образом, «исправление нравов» в России было задачей сверхсложной, пока сохранялись социальные структуры, построенные на вековых, традиционных личных отношениях помещика и дворовых. Я бы сказала, «теплых» отношениях, которые нельзя было в одночасье разрушить именно потому, что это были проявления традиционного патернализма как основы ментальности. Это только один, но очень серьезный фактор, который затруднял «рационализацию», английских примеров которой у путешественников было так много перед глазами.



## Британское присутствие на Кавказе и происхождение Крымской войны (черноморский фланг «большой игры»)



### British Presence in the Caucasus and the Origins of the Crimean War (the Black Sea Extension of the Great Game)



*Владимир Владимирович Дегоев*  
профессор,  
директор Центра проблем Кавказа и региональной  
безопасности, МГИМО МИД России

*Vladimir V. Degoev*  
Professor,  
Director of Center of Caucasian Studies, Moscow State  
Institute of International Relations (MGIMO-University)

Любая война есть результат сложного соединения многих факторов, обстоятельств, событий. Некоторые из них связаны с фундаментальными противоречиями и процессами большой «исторической длительности» (*longue durée*, Ф. Бродель). Другие возникают из временной внешнеполитической конъюнктуры, которая вовсе не обязательно должна привести к войне, но зачастую каким-то неожиданным образом именно к ней и приводит.

Быть может, поэтому причины крупных международных конфликтов иногда кажутся нелогичными. Классический пример – Крымская война (1853–1856 гг.). Многие историки называют ее «странной», «случайной», «нелепой», «иррациональной», полагая, что к ней не было никаких предпосылок. Однако какой бы случайной ни казалась Крымская война, она, как состоявшийся исторический факт, требует ответа на вопрос «почему». Профессия заставляет историка быть прежде всего детерминистом, а затем уже исследователем альтернативных, стохастических сценариев. Как предполагается, закономерности бывают глубоко скрыты под внешне беспорядочным течением событий. Применительно к Крымской войне это означает, что она явилась логическим результатом длительного, неравномерного и не всегда видимого процесса накопления

напряжения между Россией, с одной стороны, и ее соперниками, в данном случае Англией, с другой.

И тут напрашивается еще один важный вопрос – что лежало в основе русско-британских противоречий и на какую географическую сферу они распространялись?

Ученые традиционно акцентируют внимание на трех направлениях: европейском, балканско-ближневосточном и центрально-азиатском. Ареал соперничества расширялся постепенно, по мере роста сравнительно молодой Российской империи, которую другая, более «взрослая», империя – Британская – рассматривала как естественного конкурента и угрозу. И чем ближе подходили друг к другу границы двух сверхдержав, тем сильнее становилось чувство подозрительности с обеих сторон.

В первой трети XIX века Россия приобрела Кавказ и приблизилась к стратегическим коммуникациям, соединявшим Британию с Индией. Уже сам по себе этот факт вызвал панические настроения в Лондоне. И сколько бы Николай I ни заявлял, что дальше на юг он не продвинется ни на шаг, британское правительство этому не верило, и исходило из того, что над Индией нависла русская угроза (*Russian threat, Russian bogey*), которой нужно противостоять самым решительным образом. И противостоять на даль-

них подступах, то есть на Кавказе, который всё чаще стали называть «ключом» к северо-западным границам британской колонии.

Хотя эту упредительную доктрину англичане именовали оборонительной, осуществлялась она явно наступательными методами. В 1830-е годы на Кавказе появились британские эмиссары, чтобы организовать местные горские племена в их борьбе против России. Лондон просил султана пропустить британский флот в Черное море и предоставить возможность построить военно-морскую базу в районе Батуми или Потти. В конце 1836 года британская шхуна «Виксен» доставила черкесам оружие, создав реальную ситуацию военной тревоги и заставив европейских дипломатов и прессу почти с уверенностью прогнозировать неминуемое вооруженное столкновение между Россией и Англией. Тот факт, что войны всё-таки удалось избежать, вовсе не отменяет другого факта: именно такие с виду непримечательные инциденты способны неожиданно стремительно вылиться в неконтролируемое развитие событий и привести к полномасштабной войне.

Был ли «Виксен» несостоявшейся предлюдей к Восточному кризису 1850-х годов, утверждать не берусь. Однако что-то мне подсказывает, что одна из исторических дорог к Крымской войне, если, конечно, считать войну закономерной, вымощивалась именно тогда и пролегла она через Кавказ.

Это предположение находит подтверждение уже не в гипотетических, а в реальных стратегических планах Лондонского кабинета, который в 1853–1856 гг. рассматривал идею о превращении Кавказа в главный театр боевых действий с тем, чтобы победа там над Россией позволила отторгнуть от нее территорию между Черным и Каспийским морями (черноморско-каспийское междуморье, *Intermarium*). Пальмерстон (Palmerston) смотрел на Крымскую войну как на «грандиозную шахматную партию», в которой Англии нужно выиграть крупные фигуры, прежде всего Кавказ. О том, что это были не только планы, свидетельствуют военные операции союзного флота на вос-

точном побережье Черного моря, а также совещания английских и французских высокопоставленных эмиссаров с черкесскими предводителями.

Даже после того как турки, активно поддерживаемые союзниками, проиграли на Кавказе всё, что можно было проиграть, британские дипломаты на Парижском конгрессе настаивали на уходе России из этого региона, угрожая прервать переговоры. Несмотря на отказ Наполеона III продолжать войну, в Лондоне всерьез разрабатывался план новой кампании 1857 года без участия французов. Она предусматривала масштабные боевые операции британского флота в Черном и Азовском морях, высадку десанта на кавказском побережье с последующим взаимодействием с черкесскими вождями и имамом Шамилем.

Это уже мало похоже на реализацию «оборонительной» доктрины. Скорее, это доктрина «отбрасывания» (*roll back*) России к допетровским границам (*pre-Petrine frontiers*). Видимо, именно так намеревался Лондон получить контроль над тем, что Дэвид Уркарт (David Urquhart) именовал «воротами в Индию». Если подыскивать подходящее определение для такой военно-политической стратегии, то почему бы не назвать ее «наступлением под видом обороны».

Предпосылки Крымской войны трудно выстроить в иерархическом порядке. Но для многих историков всё более заманчивым становится исследование гипотезы о том, что в череде этих предпосылок далеко не последнее место принадлежало русско-британским противоречиям на Кавказе. Перспективы изучения указанной проблемы, уверен, могут воплотиться в очень интересные и плодотворные для исторической науки открытия.

В частности, стоит прислушаться к мнению современного западного историка, считавшего Крымскую войну в значительной степени продуктом «большой игры» (*Great game*) в Азии. Позволим себе пойти еще дальше в историческом и географическом переосмыслении этой метафоры. И пред-

ложить рассматривать «большую игру» как состояние взаимного страха, недоверия, патологической мнительности и идеологического антагонизма. Это состояние являлось имманентной чертой англо-русского соперничества, сфера которого выходила далеко за пределы Центральной Азии, охватывая черноморско-каспийское пространство, всю Европу от Скандинавии до Северной Африки.

И историко-хронологические рамки этого феномена шире, чем принято считать.

Первые признаки его зарождения видны уже на заключительном этапе русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Что касается общепринятой даты окончания «большой игры» – 1907 год, – то и тут есть над чем задуматься.

В каком-то смысле «большая игра» – та же «холодная война», развернувшаяся в XIX веке между двумя сверхимпериями и лишь однажды прерванная войной «горячей» – Крымской. Станет ли это уроком для современной России и современного Запада? Будем надеяться.



## Empire and Modernization: Russia before 1917

### Империя и модернизация: Россия до 1917 года



*Peter Waldron*

*Professor of Modern History,  
School of History, University of East Anglia*

*Питер Уолдрон*

*профессор современной истории,  
Школа истории, Университет Восточной Англии*

The Russian state had expanded very rapidly during the nineteenth century. Muscovy had been extending its boundaries since the fifteenth century and Peter the Great took a conscious decision to accelerate the process of Russian expansion and to direct Russian energies westwards. During the 1790s the partitions of Poland had brought most of the Polish state under Russian control, and in 1809 victory in war with Sweden resulted in Finland becoming part of the Russian empire. In the south, Russia attempted to gain control of the Caucasus, but this proved to be a challenging process. Rivalry with Persia continued during the first years of the nineteenth century, with military conflict between the two that continued into the 1820s. Gaining control of the whole region proved to be a prolonged and costly process: during the 1830s and 1840s the Russian army was engaged in almost continual conflicts to subdue the peoples of the Caucasus and it suffered significant casualties. The struggle continued into the middle of the century, with Russia making a renewed effort to conquer the region at the end of the 1850s. In 1858, Shamil, the leader of the Caucasian forces, was captured but it still took Russia another six years to achieve a degree of stability in the Caucasus and, when Alexander II visited Dagestan in 1871, he had to be accompanied by a formidable set of bodyguards.

It was Central Asia, however, that witnessed the greatest expansion of Russian power. Some of the Kazakh peoples had accepted Russian overlordship during the eighteenth century, and from the 1830s onwards Russia made a concerted

effort to extend its power southwards towards Persia and Afghanistan. Progress was spasmodic during the middle years of the century, with revolts against the Russians at the end of the 1830s, but in the 1860s, Russia adopted a much more assertive policy in Central Asia, sending expeditions that succeeded in taking Tashkent in 1865 and Samarkand in 1868. A governor-generalship was set up in Tashkent, showing the determination of Russia to establish its authority across the region and further military activity brought agreement with the Khan of Bukhara in 1868, the surrender of Khiva in 1873 and the annexation of Kokand in 1876. By the end of the 1870s, Russian domination of Central Asia was secure and Russia had established itself as a major imperial power in the region. Further east, Russia's position on the Pacific coast strengthened as expeditions explored the lower reaches of the Amur, reaching its mouth in 1849 and establishing a Russian fortification there. Russian imperial expansion during the nineteenth century was both rapid and deliberate: scientists, military men and diplomats all understood the benefits of extending the reach of Russian power. The Tsarist regime displayed great dynamism in expanding its political authority, especially in the difficult areas of Central Asia. Successive rulers gave their approval to the demonstration of Russian power that was evident as Russian troops planted the flag in parts of Asia thousands of kilometres from the St. Petersburg capital. By the mid-1870s, Russia's empire was more or less complete and Russian power straddled both Asia and Europe.



The expansion of the Russian empire never required Russians to venture overseas. Instead, Russian explorers and troops gradually made their way across the Eurasian landmass, adding new territory to the metropolitan state itself. This distinguished the Tsarist empire from some of its European counterparts and presented the St Petersburg regime with significant challenges. The growing empire and its nature posed important questions about the nature of this dynamic Russian state: was it an empire that was Russian in every way, or was it just a group of disparate lands and peoples that were ruled from St Petersburg by Russians?

Russia's imperial ambitions were a crucial element in the development of its relations with foreign powers. As Russian influence grew in Central Asia, tensions grew in Russia's relations with Britain, with the London government mindful of the potential threat posed by Russia to its Indian empire. Some ambitious Russian military men genuinely believed that Russia was in a position to strike at British India, even though the government itself was much more cautious in its approach. Nevertheless, the extension of Russian power in Asia in the 1860s and 1870s caused disquiet in Britain and set the two European powers with the greatest stake in Asia at odds with each other. This tension between Britain and Russia had important consequences for international relations in Europe itself. The two countries had been allies in the war against Napoleon at the start of the nineteenth century, but disagreement as the Ottoman empire weakened in following decades led to open war in the Crimea in the 1850s, with the British, French and Turks inflicting a humiliating defeat on Russia on its own soil. This intensified the rivalry between Britain and Russia in Asia, but it also continued the suspicion that existed between the two powers in other fields. The deeply conservative regime of Nicholas I (1825–1855) gained the soubriquet of being the “gendarme of Europe” as it acted to put down rebellions, most notably in 1830 and 1848, and even after the accession of the reform-minded Alexander II Russia remained firmly on the side of the established order in Europe. By the 1880s, however, Bismarck's Germany had ended its alliance with Russia and the Tsarist regime

found itself friendless. Russia was able, however, to strike an accord with France, ostensibly an unlikely ally given French republicanism, but which made sense after France's defeat by Prussia in 1871. There were powerful economic reasons for a Franco-Russian alliance: Sergei Witte, the Russian Minister of Finance, was determined to revitalise the Russian economy but Russia itself could not generate sufficient capital for investment in new industries. Foreign investment was, therefore, vital if Russia was to make economic progress and France promised to be a fruitful source of capital. Neither Germany nor Britain was prepared to play any major part in providing loans to Russia: the Germans were wary of the Russian rapprochement with France, while the British mistrust of Russia's Asian ambitions meant that British banks maintained their distance from Russia. In 1907, however, both Britain and Russia recognised that tensions in Asia were unproductive and concluded an agreement to resolve their disagreements in Afghanistan, Persia and Tibet. Imperial ambition in the Far East prompted the development of an assertive foreign policy towards Japan around the turn of the twentieth century: Nicholas II (1894–1917) was prepared to countenance war, believing that Russia would emerge victorious against a small Asian state. The Japanese, however, inflicted a crushing defeat on Russia on both land and sea in the war of 1904–1905, leaving Russia's military reputation shattered. The expansion of Russia's empire played a major part in shaping the Tsarist state's foreign policy, but Russia's international relations rested on increasingly shaky ground as the nineteenth century advanced.

In 1814, Russian military and political power reached unparalleled heights. Tsar Alexander I's armies had played a major part in the defeat of Napoleon, driving the French from Russia in 1812 and pushing westwards in 1813 and 1814, so that the Tsar was able to march his troops into Paris in March 1814. In the course of a century, Russia had been transformed from a position of regional strength in northern Europe into one of the Great Powers, able to vanquish France. But Russia was never able to repeat the scale of its military triumph against Napoleon under the Tsarist regime. While Russian armies were able to

win victories in limited conflicts, such as against Persia in the late 1820s and against the Ottoman empire in 1877–1878, Tsarist forces suffered severe defeats in the Crimea (1854–1856) and in the Far East against Japan (1904–1905). Even when Russia was able to achieve military success, such as during the Russo-Turkish war in the 1870s, the diplomatic settlement that followed at the Congress of Berlin saw the other European powers place severe limits on the growth of Russian power. Defeat in the 1850s, and again a half century later against Japan were traumatic for the Russian state. Military power was a central pillar in legitimising the Romanov regime's autocratic rule of its empire, and defeat provoked intense reflection about the nature of the Russian regime. Both the Crimean catastrophe and defeat by Japan came after sustained periods of deeply conservative rule, when Nicholas I, Alexander III and Nicholas II had each resisted calls for domestic reform. Both defeats were followed by intense pressure for reform at home, as reformers sought to take advantage of the obvious weakness of the Tsarist regime. Alexander II's "great reforms" and the constitutional changes of 1905 were each prompted by the belief that Russia could only recover its military prowess – and its wider international position – by modernising its internal political and social structures. The link between domestic policy and international prestige was very plain to Russians: while the Tsarist state appeared able to advance its imperial agenda and bring new lands under the control of St Petersburg, domestic opinion maintained a grudging acceptance of the conservatism of Russia's rulers. International humiliation, however, released a pent-up discontent with Tsarism and struck at the heart of Russian domestic power.

The Russian state paid a high price for its empire. The acquisition and maintenance of its imperial possessions required a large army and, by the end of the nineteenth century, Russia was spending nearly a quarter of its national budget on the military. It was military expenditure that dominated Russia's state finances. During the

eighteenth century, the army and navy consistently accounted for some 40 per cent of the Russian state's spending and, at times, almost 60 per cent of the budget was devoted to military expenditure. This is hardly surprising, given Russia's persistent involvement in wars and the continuing impetus to extend the territorial boundaries of the empire. Military expenditure grew significantly during times of war, with sharp increases during the Napoleonic Wars, the Crimean War and the Russo-Turkish War of 1878–1879. There was also a considerable increase in military spending in the years preceding the First World War, with expenditure growing from 420 million rubles in 1900 to 820 million rubles in 1913. Although this did not represent a significant increase in the proportion of the government's income devoted to military spending, since the state's budget was growing rapidly during this period, it was a much heavier burden that at first appears. By 1914, Russian military expenditure exceeded that of Britain, even though Britain's army and navy were needed to protect the security of its far-flung empire. It has been suggested that the proportion of Russia's national income devoted to military expenditure was almost twice as heavy as for the more economically developed countries of Britain, France and Germany.

This severely reduced the amount of revenue that could be utilised for other elements of the state's activities, so that Russia continued to lag behind its European rivals in areas such as the provision of education. The pursuit of its imperial ambitions reinforced the Petrine emphasis on Russia as a Great Power, but it meant that the Tsarist state was able only sporadically to follow the second part of Peter the Great's programme – economic and social modernization. The rapid expansion of the Russian empire during the nineteenth century skewed the balance of the state's concerns away from domestic policy towards its wider international position and it was only at times of crisis, such as in the 1850s and in 1905, that domestic concerns took temporary and short-lived primacy.



## История формирования индийской диаспоры и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику Великобритании и Индии



### The History of the Indian Diaspora Formation and Its Impact on the Domestic and Foreign Policies of Great Britain and India



*Лидия Викторовна Кулик*

*Центр индийских исследований Института востоковедения РАН;  
Руководитель направления по исследованиям Индии Института развивающихся рынков SKOLKOVO*

*Lidia V. Kulik*

*Institute of Oriental Studies RAS;  
Head of India Studies, SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies*

В Великобритании проживает около 1,5 млн человек индийского происхождения [1]. Диаспора выходцев из Индии по-прежнему является крупнейшей общиной в Британии, поскольку включает в себя несколько поколений мигрантов. И хотя она меньше, чем индийская диаспора в Малайзии или в США, по своему влиянию и статусу она занимает уникальное положение. Диаспора – это значительный фактор влияния на экономику и внутреннюю политику как в Великобритании, так и в Индии.

Когда в XVII в. британская Ост-Индская компания начала расширять свое присутствие на индийском субконтиненте, первыми в Британии оказались индийцы, которых англичане привозили на острова туманного Альбиона в качестве домашней прислуги. Кроме того, между колонией и метрополией было налажено регулярное судоходство, для обслуживания которого Ост-Индская компания в больших количествах привлекала индийских матросов (ласкаров) и чернорабочих, присутствие которых стало заметно в Лондоне и в других крупных портовых городах уже на рубеже XVII–XVIII вв. Затем в Англию всё чаще приезжали и представители правящих классов Индии, их количество стало значительным, начиная с периода правления королевы Виктории, то есть примерно

с середины XIX в. К этому же времени относится резкое увеличение числа индийских работников в Англии, а также индийских моряков, обслуживавших британские суда.

Постепенно увеличивалось и число индийских студентов в британских университетах. Если в 1845 г. таких было всего четверо, то в 1890-х их стало более 200, а к 1910 г. – уже около 700 человек [2]. В британских учебных заведениях обучались многие выдающиеся индийцы, в том числе и главные лидеры индийского национально-освободительного движения. Среди них – М.К. Ганди (изучал юриспруденцию в Университете Лондона), Дж. Неру (сначала обучался в элитной частной школе Хэрроу, затем в Колледже Св. Троицы Кембриджского университета), а также такие деятели, как основатель Пакистана М.А. Джинна, парламентарий Ш. Саклатвала, автор конституции Индии Б.Р. Амbedкар и многие другие.

В межвоенный период миграция из Индии в Британию не носила массовый характер. Немногочисленные вакансии в экономике быстро заполнялись рабочими из Ирландии или других европейских стран. Ситуация изменилась лишь после Второй мировой войны.

В период существования Британской империи все жители колоний – будь то рядо-

вые граждане, моряки, военные или правители индийских княжеств (махараджи) – теоретически имели одинаковые возможности свободного передвижения внутри владений империи, являясь подданными Короны. После обретения Индией независимости 15 августа 1947 г. новые формальные ограничения положили конец свободному передвижению граждан внутри империи. В 1948 г. был принят закон о Британском гражданстве (British Nationality Act), в котором хотя и говорилось о британском подданстве и гражданстве как жителей Великобритании, так и жителей колоний, проводилось различие между гражданами государств, которые имели право въезжать в Великобританию и селиться в Соединенном Королевстве (подразумевались белые поселенцы Канады и Австралии), и всеми остальными гражданами бывших британских колоний, получающих независимость.

К началу 60-х гг., по мере того как крепла британская экономика, восстанавливалась потребительская активность и улучшалось настроение в обществе, в Великобритании стала расти потребность в рабочих руках в таких отраслях, как транспорт, медицина, легкая промышленность и производство товаров для дома. Главным регионом в Индии, откуда прибыла значительная часть мигрантов этой волны, был Пенджаб. На сегодняшний день выходцы из Пенджаба – это до 45% всей индийской диаспоры в Великобритании [3]. Если Пенджаб традиционно был поставщиком мигрантов рабочих специальностей, то такие индийские штаты, как Керала, и крупные города – Калькутта, Бомбей, Дели обеспечивали Великобританию медицинским персоналом (как низшего, так и среднего звена) и даже учителями.

Более строгие миграционные правила были приняты в 1962 г. с вводом в действие Закона об иммиграции в рамках Содружества (Commonwealth Immigration Act), принятого правительством консерваторов Г. Макмиллана. На всеобщих выборах 1964 г. в предвыборном манифесте одержавшей победу лейбористской партии был отдельный пункт, касавшийся миграции из Содружества. Лейбористы говорили о том, что стремятся со-

действовать странам Содружества в решении проблем, связанных с неравенством, и будут бороться с проявлением расовой дискриминации в самой Британии. Однако в 1965 г. лейбористским правительством была разработана и издана так называемая Белая книга по вопросам иммиграции из Содружества, ставшая основой более строгой политики в этой области не только для лейбористов, но и для консерваторов. Таким образом, первая волна миграции из Индии, связанная с нехваткой рабочих рук в Англии, закончилась в 1967 г. И хотя небольшой приток мигрантов из Индии продолжился и в последующие годы, больше столь значительных переселений из Индии, как в начале 60-х годов, уже не было.

Третья волна миграции началась в 1967 г., ее пик пришелся на 1972 г. В этот период в Великобританию начали массово переселяться индийцы из Восточной Африки, таких стран, как Кения, Уганда, Танганьика (после 1964 г. – Танзания), где к тому времени уже существовали многочисленные общины выходцев из Индии, сформировавшиеся в XIX–XX вв. и в основном принадлежавшие к торговому сословию. Среди них также было много клерков и ремесленников. После деколонизации во многих странах Восточной Африки был провозглашен курс на африканизацию, означавший активное выдавливание представителей других народностей, проживавших в этих странах, из общественной и экономической жизни. Проводилась национализация собственности или, как в Кении, – строгое лицензирование торговой деятельности. Основной индийской общиной в Восточной Африке были выходцы из Гуджарата, традиционно влиятельная и преуспевающая группа, также было много пенджабцев. Они всегда поддерживали тесные деловые и родственные связи не только с родными регионами в Индии, но и с Великобританией, многие из них имели британские паспорта. Как только британское правительство осознало масштаб надвигающегося переселения, в марте 1968 г. был принят второй Закон об иммиграции в рамках Содружества, отгородивший Британию от волны «цветной» азиатской миг-

рации и перенаправивший поток мигрантов из Восточной Африки в Австралию, Канаду и США. Именно в 1970-е гг. сначала Канада, а затем США опередили Великобританию по количеству мигрантов из Индии. Согласно закону 1968 г., в Великобританию могли переселиться только те держатели британских паспортов, родители которых также имели такие паспорта. Когда президент Уганды Иди Амин объявил о высылке всех граждан страны азиатского происхождения, большинство из которых были по своему происхождению индийцами и являлись держателями британских паспортов, правительство консерваторов под руководством Э. Хита, в отличие от своих предшественников лейбористов, не стало применять закон 1968 г. слишком жестко. Всего, по некоторым оценкам [2], в Великобританию в конце 1960-х – начале 1970-х гг. прибыло до 50 000 переселенцев из Восточной Африки, в основном из Уганды и Кении. Хотя большинству из этих семей пришлось оставить в Африке всё, что у них было, – свои дома, собственность и бизнес, они успешно адаптировались на новом месте и вскоре стали самой преуспевающей частью индийской диаспоры в Великобритании, ее деловой и культурной элитой.

С конца 1984 г. англо-индийские отношения были, по существу, заморожены из-за нежелания Лондона пресечь в стране деятельность сикхских группировок, причастных к убийству Индиры Ганди 31 октября 1984 г. Лишь в ходе визита Раджива Ганди в Великобританию в октябре 1985 г. была достигнута договоренность о выдаче совершивших преступление террористов или их обязательном привлечении к уголовной ответственности, что расчистило путь к нормализации отношений.

В 1990-е гг. приток мигрантов в Великобританию из Индии продолжился – прежде всего это были молодые профессионалы, заполнявшие вакансии в отраслях, испытывавших острую нехватку кадров, главным образом в Национальной системе здравоохранения, в секторе интернет-технологий и телекоммуникаций. Примерно две трети всех программистов, приехавших на

работу в Великобританию в эти годы, были из Индии. По состоянию на 2000 г. таких специалистов в Британии было уже более 11 000 человек [3]. Эта высококвалифицированная новая миграция в сочетании с высоким уровнем образования и предпринимательской активности мигрантов второго и третьего поколения определила современное лицо многочисленного среднего класса индийской диаспоры в Великобритании.

Для большинства мигрантов из Индии характерно, что, независимо от региона их происхождения и кастовой принадлежности, среди основных жизненных ценностей из поколения в поколение передаются не только универсальные понятия, такие, как семья, дом, община, но и важные установки на приоритетное образование детей, взаимопомощь, собственное дело, высокий уровень сбережений и инвестиций, работа на благо общества. Хотя среди представителей всех южноазиатских диаспор в Великобритании есть многочисленные примеры социального, экономического и даже политического успеха, ни одна из них не может сравниться по показателям восходящей социальной мобильности и растущего влияния с индийской общиной.

Среди британских индийцев два нобелевских лауреата – Амартья Сен (премия по экономике, 1998 г.) и Видьядхар Сурадхипрасад Найпул (премия по литературе, 2001 г.). В рейтинги богатейших и наиболее успешных граждан Великобритании, регулярно составляемые различными изданиями, уже на протяжении многих лет входят индийцы, и всё чаще они возглавляют эти списки. Наиболее известные и крупные представители бизнеса в индийской диаспоре – это братья Шричанд и Гопичанд Хиндуджа, Робен Сингх, Лакшми Миттал, Пракаш Лохия и другие.

В Палате общин британского парламента в настоящий момент 16 депутатов индийского происхождения. В Палате лордов были удостоены места 23 индобританца. Среди других публичных фигур, представляющих сегодня Великобританию, например, один из наиболее известных современных художников, индобританец Аниш Капур. В университетах и исследовательских центрах Британии

более 30 постоянных профессорских позиций в таких областях, как инженерное дело, компьютерные технологии, биохимия, химия, аэрокосмическая сфера, занимают выходцы из Индии [3].

Индийцы в Британии, как правило, имеют более высокий образовательный уровень, чем представители других этнических меньшинств. В 2007 г. около 5% молодых индобританцев в возрасте 15–24 лет получали высшее образование. При этом среднегодовой доход представителя индийской диаспоры в Великобритании составлял в этот период около 15,68 тыс. фунтов стерлингов в год [3], что было сопоставимо со средними показателями в Британии. По оценкам Лондонского института азиатских профессионалов (The Institute of Asian Professionals), ежегодный вклад представителей индийской диаспоры, составляющей 2,5% населения Великобритании, в формирование британского ВВП составляет в среднем около 10% [4].

Во многом в силу значительных демократических традиций в Индии представители диаспоры достаточно политически активны и в Великобритании. В конце 1990-х гг. можно было говорить о том, что большинство индобританцев поддерживали лейбористскую партию, в частности, это проявилось на всеобщих выборах 1997 г., на которых со значительным преимуществом победили лейбористы. Однако на сегодняшний день лейбористская партия утратила «монополию» на голоса британских индийцев. Партия консерваторов активно укрепляла свои позиции

среди индобританцев начиная с 2006 г., в целом сделав ставку на развитие отношений с Индией. Все британские политики сегодня вынуждены прислушиваться к окрепшему голосу индийской диаспоры, и теперь этот голос, скорее, консервативен в таких вопросах, как иммиграция, в вопросах семьи и брака. Диаспора также влияет на отношения Великобритании с Индией, способствуя повышению значения Индии в списке внешнеполитических приоритетов Лондона.

Что касается связи индийской диаспоры с политическим процессом в Индии, то индийские партии в полной мере осознают масштаб ее влияния и стремятся заручиться поддержкой, прежде всего финансовой, среди британских индийцев. Хотя индийская диаспора в Великобритании долгое время не воспринималась властями Индии как союзник, сегодня свои отделения во многих городах Великобритании имеют все основные индийские политические силы, прежде всего правящая в Индии Бхаратия джаната парти и Индийский национальный конгресс.

Новая Индия нуждается в своих соотечественниках за рубежом. Диаспора для нее – не только источник финансов, фактор влияния на экономику, но и важный носитель компетенций и технологий. Кроме того, индийская диаспора – это еще и значительный инструмент лоббирования, прежде всего в Лондоне и в Вашингтоне. Что не менее важно, диаспора является одним из главных проводников «мягкой силы» Индии в странах Запада, главным образом в Великобритании.

## Литература

1. *Britain and India: Marriage a-la-Modi*, *The Economist*, 14.11.2015. (<https://www.economist.com/britain/2015/11/14/marriage-a-la-modi>).
2. *The Encyclopedia of the Indian Diaspora*, Ed. B.V. Lal, UK, Oxford, Oxford University Press, 2006. 416 pp.
3. *Report of the High Level Committee on the Indian Diaspora*, Rep. India, New Delhi, Indian Council of World Affairs, 2001, 576 pp.
4. **Н.В. Галищева**  
*Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика*, РФ, Москва, Изд. Буки Веди, 2013, 502 с.



## Политика Российской империи в отношении местного населения Центральной Азии



### Russian Empire's Policy towards Local Muslim Population in the Central Asia



*Евгений Михайлович Кожокин*  
 профессор, проректор МГИМО МИД России  
 по научной работе

*Evgeny M. Kozhokin*  
 Professor, Vice-Rector for research, Moscow State  
 Institute of International Relations (MGIMO-  
 University)

На протяжении XVIII–XIX вв. казахи, узбеки, таджики, киргизы, туркмены оказались подданными Российской империи. В первой половине XX в. они стали гражданами Советского Союза и одновременно гражданами союзных республик – протогосударственных образований, в значительной степени предопределивших то, что в 1991 г. образовались новые независимые государства, в значительной степени унаследовавшие территории, границы которых определились в рамках СССР. Сейчас во всех этих государствах идет развитие государственных идеологий, основы их уже созданы и представлены, в Средней Азии, прежде всего в выступлениях, статьях, книгах президентов этих стран. Государственные идеологии, по мнению правящих элит постсоветских государств, должны включать в себя и такой важный компонент, как национальная история.

В старых членах Европейского союза сейчас в историографическую моду вошло разрушение «национального романа». Так обозначили давно сложившееся историческое повествование о пути становления и развития нации и государства в таких странах, как Франция, Германия, Италия... Необходимость формирования общеевропейского, точнее, общеЕвросовского сознания, а с другой стороны – стремительное укрепление нового регионализма стимулировали от-

каз от привычного движения «от Хлодвига до наших дней» (если взять в качестве примера и модели французскую историографию). На постсоветском пространстве конституируют именно то, что в западноевропейской историографии стали называть «национальным романом». В этой ситуации исключительно важно как для самих народов бывших советских республик, так и для нас, их соседей, чтобы научная составляющая не уничтожалась идеологической индоктринацией.

Создание нации и сохранение ее идентичности – процессы, поддерживаемые, стимулируемые и контролируемые государством. Не вызывает сомнения неизбежность конструирования «национальных романов» в новых государствах. Но хочется обратить внимание на некоторые методологические и одновременно ментальные ловушки, которые существуют на поле изучения историй народов Средней Азии в период их пребывания в составе Российской империи.

Всё старшее поколение историков постсоветских стран изучало самым серьезным образом труды В.И. Ленина. Его публицистический талант проявлялся прежде всего в исключительном даре убеждения. Даже те люди, которые радикально поменяли свои убеждения, нередко остаются под влиянием его резких, запоминающихся формулировок. В итоге парадигмы ленинских текстов оказываются вписанными в методологический

инструментарий вовсе не марксистской направленности. В государствах, возникших на территории бывшего СССР, ленинизм отвергли, но не осмыслили.

Ленин утверждал, в частности, в статье «О праве наций на самоопределение»: в Российской империи «угнетение... инородцев гораздо сильнее, чем в соседних государствах (и даже не только в европейских)» [1].

Идею о том, что Российская империя являлась «тюрьмой народов», Ленин проводил последовательно и неуклонно. Эта запоминающаяся формула являлась гранью в политической концепции российского государства как такового. Ленин развивал и продолжал нигилистическую традицию в подходе к российской государственности.

Российская государственная бюрократическая машина отличалась большой закрытостью, что, с одной стороны, обеспечивало условия для коррупционной составляющей, короче – для больших и малых взяток, с другой – в авторитарном, самодержавном режиме чиновник был подотчетен только вышестоящему начальству, которое также не должно было знать ничего лишнего. Поводов и причин для гиперкритического отношения было достаточно, в то же время часть российских бюрократов не только в военном и дипломатическом, но и других ведомствах отличалась высочайшим профессионализмом, не уступая своим европейским коллегам. Этим людям и их деятельность российские нигилисты из числа интеллигенции не хотели видеть.

Увеличение территории Российской империи на протяжении XVIII–XIX вв. осуществлялось за счет успешных войн и умелой дипломатии. В то же время своевременные военные и административные реформы не допустили развала государства и разложения социума, того, что произошло в Речи Посполитой, Империи Моголов, отчасти – в Китае и Османской империи, обусловили победы России в противостоянии с другими империями: Речью Посполитой, Швецией, Осма-

нами. Россия терпела поражения в XX в. от Японии и Германии, империй, более успешно, чем она, сумевших осуществить модернизацию государственного управления, организации и вооружения своих армий.

XVIII–XIX вв. – это эпоха великих завоеваний европейских держав. Огромные территории захватывали прежде всего Великобритания и Франция. Колониальные владения приобретали в Африке и Азии и другие европейские государства. Происходил определенный передел территорий и в Европе. Экспансионизм являлся нормой международной политики. Впрочем, мотивация к экспансии была различной у правительств и господствующих классов Великобритании, Франции и России. Если экономические интересы доминировали в определении планов подчинения всё новых и новых территорий у англичан и французов, то причины действий россиян существенно отличались. Память об иностранных вторжениях, захватах российских городов, включая Москву, угонах в плен и рабство населения, отторжении издавна принадлежавших территорий – всё это было слишком живо в исторической памяти всех в Российской империи: от высшей знати до крепостных крестьян. Стремление обезопасить государство и население от повторения подобных трагедий существенным образом влияло на планы и внешнеполитические действия императорского правительства. При этом, конечно, торговые интересы страны принимались в учет. Бухара, Хива, Коканд в Средней Азии были хорошо известны тем, кто вел торговлю с Востоком.

Так как соображения безопасности играли постоянно столь существенную роль для россиян, то они старались, присоединяя к империи новые территории, обеспечить долговременную лояльность населения, проживавшего на этих территориях. Другие не означало *чужие*. Империя расширялась, и среди ее подданных появлялось всё больше *других*, которые как можно скорее должны были стать своими<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Справедливо писал о путях интеграции новых подданных германский историк из Кельнского университета Андреас Каппелер: «Ключевым принципом, гарантировавшим с XVI века целостность Российской империи, была кооптация нерусских элит в высшие круги империи» [2, с. 127].



Вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности люди, честно служившие российскому государству, могли достигать высоких постов и получать высшие награды. На присоединенных территориях императорское правительство вполне терпимо относилось к сохранению местных языков, обычаев, культурных особенностей, редко вмешивалось в отправления культов<sup>2</sup>. Повсеместно и последовательно российские императоры один за другим проводили на вновь присоединенных к Российской империи территориях политику сословной интеграции.

Местную знать российские императоры повсюду на вновь присоединенных территориях старались включить в общероссийский нобилитет. Рассчитывая, что в свою очередь новые «русские дворяне» уже сами обеспечат если не лояльность, то хотя бы покорность зависимых от них людей.

Включение народов Средней Азии в состав Российской империи имело свои трагические моменты, запечатленные даже в русской живописи. Хорошо известны взаимные жестокости, совершавшиеся во время боевых действий. В то же время война заканчивалась, и местное население превращалось в подданных Российской империи со своими обязанностями, но и со своими правами.

Участовавший в военных действиях на территории Средней Азии, затем служивший под началом К.П. Кауфмана в управлении Туркестанским генерал-губернаторством, а впоследствии ставший сам генерал-губернатором Туркестана генерал А.Н. Куропаткин отмечал в своих воспоминаниях: «Полная незлобивость русского офицера и солдата позволяла нам и в Азии, как только кончался бой, относиться к покоренному населению человечески. Все старые счеты с побежденным противником считались поконченными. Он становился русским подданным и нашим младшим братом. Его вера, жизнь, имущество, обычаи уважались» [4].

Военное, технологическое превосходство России над среднеазиатскими государствами было очевидным. Ощущение своей цивилизаторской миссии было присуще многим чиновникам и офицерам, служившим в регионе, но нехарактерным для россиян было ощущение какого-либо человеческого превосходства. Местные люди отличались по языку, культуре, вере, но русские имели привычку к таким различиям в своей среде. Иные для них не означало низшие. Боевой офицер, участник штурма Ура-Тюбе в своих записках, описывая бытовые, походные условия жизни, роняет фразу: «Совершенный недостаток столов и стульев составляет причину, почему в здешних обедах приходится не сидеть, а лежать так, как это делали наши праотцы и как теперь делают наши братья – сарты» [5, с. 190]. Будучи назначенным помощником начальника нанганского участка, В.П. Наливкин, только что вышедший в отставку молодой боевой офицер, так определял для себя задачи русской администрации на территории покоренного Кокандского ханства: «Надо было вводить основы нашей гражданственности среди чуждого нам и чуждавшегося нас населения. Поэтому являлось необходимым, во-первых, знакомиться с этим населением, с его языком, бытом и нуждами, а во-вторых, по возможности защищать его интересы, интересы нового русского гражданина и плательщика» [6, с. 544]. Несмотря на сложный характер, принципиальность в отстаивании своих взглядов и принципов, впоследствии В.П. Наливкин сделал отменную карьеру в администрации Туркестанского генерал-губернаторства благодаря тому, что начальство высоко ценило его превосходное знание местных языков и обычаев.

Казахские жузы, будучи включенными в состав России, сохранили многие элементы самостоятельности. Довольно долго оставались ханская власть, институт султаната, система родоправителей-старшин, суд биев

<sup>2</sup> А.И. Миллер, один из лучших специалистов по истории имперской политики, справедливо писал: «Нередко приоритетом имперской власти являлась лояльность, то есть утверждение такой версии локальной идентичности, которая была бы совместима с лояльностью империи... в том числе лояльности цивилизационной» [3, с. 88].

и кочевая аульная община. Ханы имели свои дружины и в период военной опасности могли собирать народное ополчение. Вплоть до начала XX в. казахи сохраняли освобождение от рекрутской и соляной повинностей. В 1822 г. была введена система избрания султанами старшего султана. Он имел чин майора российской службы и являлся чиновником, поставленным во главе местного правления. За десять лет службы старший султан получал дворянское звание. «Устав о сибирских киргизах» (на самом деле речь шла о казахах, этноним «казахи» гораздо более позднего происхождения) разрешил им селиться внутри империи, поступать на государственную службу [7]. На низовом уровне вплоть до конца 60 гг. XIX в. власть сохранялась в руках местной знати.

Особенностью Российской империи было часто практиковавшееся осуществление на присоединенных или присоединяемых территориях более либеральной политики, чем в историческом центре. Русское правительство либеральные реформы осуществляло вначале на национальных окраинах – на территориях Великого княжества Финляндского, Польши, в Лифляндии, Эстляндии... Но и в Средней Азии оно шло на некоторые шаги, которые в центре считались еще несвоевременными.

Согласно договору России с Бухарой, заключенному в 1868 г. К.П. Кауфманом, в Бухарском ханстве запрещалась работоторговля. Договором также предусматривалось предоставление права покупки недвижимости, свободы торговли всем бухарским подданным без различия вероисповедания. В то время как в самой России продолжали действовать нормы, дискриминирующие евреев. Согласно «Положению об управлении Туркестанским краем от 12 июня 1886 г.», «туземные евреи» пользовались одинаковыми правами наравне со всем коренным населением, в частности, получили право покупать недвижимое имущество.

Для понимания особенностей отношения российского государства к иноверцам Средней Азии следует отметить, что в соста-

ве Уральского, Сибирского и Семиреченского казачьих войск, помимо русских, татар, башкир, калмыков, были казахи и киргизы. Казачество было особым, привилегированным сословием, своего рода народной аристократией. Таким образом, царское правительство представителей «колониальных» народов включало почти сразу же после присоединения их территорий в состав дворянства и казачества; нерусских, нехристиан называли «туземцами», «инородцами», но не рассматривали как чуждый элемент, который можно было лишать собственности, а тем более жизни вследствие экономической, политической или социальной необходимости. Расизм, являвшийся долгое время важным компонентом политической культуры и государственной политики США (в меньшей степени западноевропейских держав), был нехарактерен для Российской империи.

Численность туземного населения под российским управлением не только не уменьшалась, а неуклонно увеличивалась [8].

Российская имперская система создавала условия для развития живших на ее территории этносов, у них менялась социальная структура, происходило формирование разнородной интеллигенции, буржуазии, прежде всего мелкой, у некоторых этносов появлялись и свои крупные предприниматели. Эти новые слои имели свои цели и интересы, условия для их выражения и отстаивания по всей стране были явно неудовлетворительны и явно не соответствовали чаяниям, прежде всего интеллигенции: при этом русская интеллигенция была в такой же ситуации, как и инородческая. В итоге часть национальной интеллигенции пошла вместе с русской по пути подготовки политической и социальной революции, которая должна была снять все противоречия Российской империи, уничтожив саму империю и породив утопическое государство всеобщего счастья. Другая часть стала мечтать о национальной консолидации и создании автономии в рамках российского государства.

## Литература

1. **В.И. Ленин**  
*Полн. собр. соч. в 55 томах*, СССР, Москва, Изд. политической литературы, 1958–1966, т. 25, с. 255–320.
2. **А. Каппелер**  
*В Россия - Украина: история взаимоотношений*, под ред. А.И. Миллера, В.Ф. Репринцева, Б.Н. Флори, РФ, Москва, Школа «Языки русской культуры», 1997, с. 125–144.
3. **А.И. Миллер**  
*Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования*, РФ, Москва, Новое литературное обозрение, 2006, 248 с.
4. **А.Н. Куропаткин**  
*70 лет моей жизни: Из воспоминаний генерала*  
А.Н. Куропаткина, 1867–1882 гг. ([http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kuropatkin\\_A\\_N/text1.htm](http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kuropatkin_A_N/text1.htm)).
5. **М.А. Зиновьев**  
*Русский вестник*, 1868, 75(5), 71; цит. по: *Царская колонизация в Казахстане (по материалам дореволюционной русской периодической печати)*, сост. Ф.М. Оразаев, Респ. Казахстан, Алматы, Рауан, 1995, 368 с.
6. *Полвека в Туркестане. В.П. Наливкин: биография, документы, труды: Сборник*, под ред. Е.И. Лариной, Д.Ю. Арапова, С.Н. Абашина, В.О. Бобровникова, Т.В. Котюковой, Н.С. Терлецкого, РФ, Москва, Изд. дом Марджани, 2015, 688 с.
7. *Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления*, РФ, Москва, 1997, 415 с.
8. *Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей, в 19 томах, т. 18, Киргизский край*, под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского, Российская империя, Санкт-Петербург, Изд. А.Ф. Девриен, 1903, 479 с.

СЕМИНАР «БРИТАНСКАЯ И РОССИЙСКАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ,  
1800–2000 ГОДА», 21–22 ОКТЯБРЯ, 2019, ЛОНДОН  
WORKSHOP “BRITISH AND RUSSIAN IDENTITIES AND  
CULTURES IN A COMPARATIVE AND CROSS-CULTURAL  
PERSPECTIVE C. 1800-2000”,  
21–22 OCTOBER, 2019, LONDON



Историческое прошлое и проблемы  
идентичности России и Великобритании



Historical Past and Identity Issues in Russia and Great Britain



*Александр Оганович Чубарьян*  
академик, профессор, научный директор  
Института всеобщей истории РАН

*Alexander O. Choubarian*  
Academician, Professor, Scientific Director of Institute  
of World History, RAS

Важным основанием, компонентом и проявлением национальной идентичности являются историческое прошлое, историческая память и традиции, закрепленные в многовековой истории стран и народов.

Рассмотрением роли исторического прошлого России и Великобритании занимались и занимаются наши многие исследовательские учреждения и коллективы.

Значение истории и традиций признают практически во всех странах и регионах мира. Можно говорить о «буме» во всемирной исторической проблематике. Для интеллигенции и людей интеллектуального труда, как и для «простых», обычных граждан, обращение к истории страны важно для понимания своей сущности и даже своей роли в современном мире.

Анализ направлений идентичности в исторической ретроспективе – это способ познания огромного своеобразия и разнооб-

разия особенностей направлений культур и путей исторического развития. Включение исторической памяти в анализ национальной идентичности позволяет увидеть наш мир в бесконечном разнообразии, особенно применительно к повседневной жизни, к обычаям и нравам, к моде и к стилю жизни.

Существует опасность концентрации внимания только на исключительности, что может вести к изоляционизму и к идее национального превосходства. Поэтому очень важно рассматривать проблемы идентичности в контексте «всемирности» в понимании органической взаимосвязи с общими закономерностями мирового развития. Такой путь и метод позволят ясно представить себе взаимосвязь и взаимозависимость культур и технологий, общих черт в развитии разнообразных стран и народов.

Обращаясь к конкретной истории России и Великобритании, мы можем констати-

ровать много общих черт исторического процесса.

Одна из таких черт связана с имперским прошлым обеих стран. В течение многих веков имперская проблематика, особенно в сравнительном плане (применительно к различным имперским государствам Европы), составляла важный элемент общеевропейской истории. В этом контексте представляется важным сопоставление сходства и различий в политике Британии и России в XIV–XIX вв.

В рамках этой большой проблемы важен вопрос о влиянии имперского наследия на менталитет различных социальных групп британского и российского обществ.

В России в XIX–XX вв. существовал большой интерес к изучению места и роли страны в Европе. В этом плане большая группа историков, философов, социологов и других специалистов анализировала особенности духовных скреп русской культуры и духовной жизни. Аналогичные проблемы имеются и в Великобритании.

С учетом современной специфики можно найти общие подходы к анализу (в том числе и в историческом плане) связей Англии и России с «классической» Европой. По этой линии может продолжаться сотрудничество ученых наших стран.

Весьма перспективен и вопрос о взаимодействии культур России и Великобритании,

начиная с XVIII века. В прошлые годы в Англии работали многие специалисты по истокам истории русской культуры XVIII века. Было бы полезно возобновить совместные исследования наших культурных связей (в том числе в сфере литературы, языков и искусства).

Великобритания – страна, в жизни которой значительное место занимают взаимоотношения Англии с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Изучая эти процессы, многие ученые обращаются к историческим истокам. Но те же проблемы существовали и существуют и поныне в России. В наших исследованиях мы обращаемся к опыту федеративных государств Европы, но в том числе и к специфике Великобритании.

В последние годы в мировой историографии привлечено большое внимание к проблеме образов и представления разных стран и народов. Для нас интересен вопрос о том, как россияне воспринимаются в других странах. С этим связан и вопрос о самоидентификации народов. Представляется, что такая проблема существует и в Великобритании. Мы могли бы сотрудничать и в этой области, особенно в плане сопоставления методов исследования взаимных образов и представлений, в том числе и в сфере самоидентификации.

Существует и много других тем для совместного изучения, относящихся к проблеме идентичности (и в общей теории и методологии, и в конкретной исторической практике).



## Gatekeeping Russianness: Cultural Entrepreneurship and Identity Negotiation in the UK's Russophone Communities



### Охранительство русскости: культурное предпринимательство и переговоры об идентичности в русскофонных сообществах Великобритании



*Lara Ryazanova-Clarke*

*Professor of Russian and Sociolinguistics, Academic Director of the Princess Dashkova Russian Centre, The University of Edinburgh*

*Лариса Рязанова-Кларк*

*профессор русского языка и социолингвистики, академический директор Русского центра княгини Дашковой, Эдинбургский университет*

The paper reports on one of the strands of my AHRC-funded Open World Research Initiative (OWRI) project entitled “Global Russians: Transnational Russophone Networks in the UK”. The project is based on ethnographic fieldwork that has collected over 150 hours of recorded interview narratives of leaders of Russophone cultural entrepreneurship in the United Kingdom. Using a discourse studies approach I examine how these leaders talk about their transnational selves and cultural activism and how this talk shapes the imagination of the Russophone community in the UK.

The paper draws on the theory of linguistic commodification which posits that in the current stage of the globalised economy, the traditional link between language, territory and cultural and national identities (the discourse of “pride”) has weakened, while language is recast as a commodifiable manifestation of economic value (the discourse of “profit”) [1, 2]. The paper sets out to investigate to what extent the discourses of Russian linguo-cultural identity and community are susceptible to commodification, and if so, what discursive elements of the narrative of identity are used as a resource of “profit”.

The focus of the paper is a case study of Nikolai (not the real name), a London-based diasporic leader who guides tours around London in Russian. With a thriving business

with an earning potential of around £800 a day, Nikolai offers 40 various London tours to the Russian speaking public, each tour attracting at least 25 people. Nikolai is well known among Russian speakers not only across the UK but also in Russia and many other countries with Russian-speaking minorities.

The paper examines two discourses produced by Nikolai – his talk during my interview with him taken on 23 October 2017 (1 hour 20 mins) and a recording of his “Jack the Ripper” excursion around London’s Whitechapel on 21 October 2017, (1 hour 33 mins). Nikolai’s narratives have been interrogated with the following questions in mind:

– In order to achieve success in his tour guiding business, what are the discursive tools that Nikolai employs for attracting Russian-speaking public to his excursions and mobilizing them for consumption of his tours?

– How do these tools relate to his imagination of the Russian-speaking community sharing common linguo-cultural identity?

Popular London sights packaged as a commodity for Russian-speaking tourists and migrants can be seen from two perspectives. On the one hand, the source culture, that is, the British cultural and historical heritage is used in the tourist business as a commercial product for tourists’ consumption. On the other hand, a potential for being a commodity is also

embedded in the role of the receptor language and culture, in our case, Russian. Language has an ability to “[act] as a semiotic marker for a specific quality that is projected onto a specific product, knowledge, or service, and [act] as a source of added value” [3, p. 59]. Therefore, any specific linguistic code and element may be employed for marketing a commodity and to attribute to it a specific value.

The analysis concludes that much of the commercial success of Nikolai’s tour guiding business lies in his narratives, constructing the commodified variant of a Russian speaking identity and community. The paper points out that in his interview narrative, Nikolai frames his excursions not so much as an occasion of spreading and acquiring knowledge about London sites, but as an excuse and an opportunity for Russophones for meeting people and socialising (Nikolai talks about them as “общение” and “повод встретиться”). He constructs a community of his customers and followers around the semantics of conviviality and cosmopolitanism, for example, by using the familiar register and calling his customers “ребята” (guys), and navigating the spatial scale when he imagines his community as globally stretched rather than local or UK-wide.

Nikolai’s tour of Whitechapel is a complex discursive work in which spatialization [4] – the transformation of space to indicate a particular position in discourse – takes prominence. Telling stories in Russian about Whitechapel murders, Nikolai presents space dynamically,

domesticating London not only linguistically but also culturally. For example, the layout of the houses, orchards and toilet arrangements in the nineteenth century Whitechapel are compared with Soviet dachas. The London news agency of the 1880s is recast as the current Russia’s news agency Itar-TASS, the Whitechapel slums are explained through references to the Soviet apartment blocks and the British TV series called “Whitechapel” is compared with the Russian sixteen season television hit “Улица разбитых фонарей” (“The street with the smashed lights”). Thus, London spaces are discursively turned into hybrid bicultural zones imbued with elements of Russian linguo-cultural localisation.

Yet, Russian cultural knowledge that Nikolai employs to build a shared identity is recognizable but is neither nostalgic nor necessarily experienced by many in his group. His Russian cultural glue is anchored in a most general scale of common experience and a high level of accessibility – the everyday, the pop and media culture which are as fleeting as the customers’ memories themselves. It seems that the tour guide relies more on the symbolic, prosthetic Russianness, which is easily extractable from its locality, and as it is transposed to London sites, accepts a kind of trans-national universality.

The established sense of convivial Russophone community and the acceptance of the offered identity are indicated by the customers’ communicative engagement, laughter and importantly bookings for the next tour, proving to be successful tools of commodification.

## References

1. **A. Duchêne, M. Heller**  
*Language in Late Capitalism: Pride and Profit*, UK, London, Routledge, 2012, 280 pp.
2. **S. Muth, L. Ryazanova-Clarke**  
*Int. J. Biling. Educ. Bi.*, 2017, **20**(4), 381.  
DOI: 10.1080/13670050.2015.1115000.
3. **A. Del Percio, M. Flubacher, A. Duchêne**  
In *The Oxford Handbook of Language and Society*, Eds O. García, N. Flores, M. Spotti, UK, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 55–75. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190212896.013.4.
4. **A. De Fina**  
In *Globalization and Language in Contact: Scale, Migration and Communicative Practices*, Eds J. Collins, S. Slembrouck, M. Baynam, UK, London, Continuum, 2009, pp. 109–129.



## Язык и идентичность: изменения в русскоязычной и англоязычной картинах мира



### Language and Identity: Changes in Russian and English Linguistic World Views



*Вера Ивановна Заботкина*

*профессор, проректор по международному сотрудничеству  
РГГУ, руководитель научно-образовательного центра  
когнитивных программ и технологий РГГУ*

*Vera I. Zobotkina*

*Professor, Vice-Rector for International cooperation Director,  
Centre for Cognitive Programs and Technologies, Russian State  
University for the Humanities*

Национальный язык является определяющим началом в формировании национальной идентичности, в свою очередь идентичность оказывает влияние на язык. Нет ничего более английского, чем английский язык, и нет ничего более русского, чем русский язык. Некоторые национальные языки не были даны изначально, а были созданы народами в результате формирования национального самосознания. Так, языковое пространство Британских островов на протяжении многих веков представляло собой совокупность местных диалектов, германских или кельтских по происхождению. И только в эпоху Возрождения сформировался письменный (литературный) вариант английского языка. Концепт идентичности является многоуровневым, в нем выделяется несколько измерений. Помимо национального измерения, которое является ведущим и определяющим в формировании идентичности, выделяются еще и другие составляющие. Каждый житель страны, как писал Р. Музиль в «Человеке без свойств», имеет по крайней мере девять характеров: национальный, профессиональный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, личный характер, который все в себе объединяет. Напомним о том, что в свое время Аристотель размышлял над *многомерностью* индивидуальной идентичности. Перикл упоминал афинскую *коллективную*

идентичность. В новейших теориях когнитивной социолингвистики появился термин *коллорабративная креативность*, а также *групповая креативность*, что тесно связано с понятием *коллективная идентичность*. Джон Локк рассматривал формирование идентичности в тесной взаимосвязи с опытом индивида, его социальной ангажированностью и исторической памятью. Изучение взаимосвязи языка и идентичности необходимо проводить на стыке концептуальных / когнитивных и социальных / прагматических параметров. Необходимо провести концептуальный анализ изменений в картинах мира англоязычного и русскоязычного обществ. Меняется концептуальная картина мира, меняется язык, меняется идентичность.

В задачи концептуального анализа изменений в картине мира англоязычного и русскоязычного обществ включаются вопросы о том, какой концептуальный материал группируется в новых словах английского языка; какие именно концепты использовались чаще всего при категоризации и членении мира последних десятилетий; произошли ли изменения в составе базисных концептов и категорий, а также в структурах прототипов; какие способы вербализации мира наиболее активно использовались в последние десятилетия (Кубрякова); в какой мере в процессе категоризации и ословливания задействованы прагматические факторы;



каково отношение прагматических и когнитивных процессов.

Основной функцией языка, как известно, является ословливание мира, «Worten der Welt» по Бюлеру (Buhler). Точнее говоря, речь идет об ословливании концептуализированного мира. В санскрите слона иногда называли «дважды пьющий», иногда – «имеющий руку», иногда – «обутый дважды». Каждый раз имелись в виду различные концепты, соотносящиеся с одним и тем же объектом (Гумбольдт (Humboldt)). Иными словами, речь идет о существовании трех миров: мира реальности, мира концептов и мира слов. Между тремя мирами осуществляется диалектическое движение. Трудно сказать, какое направление движения является первичным, – от слова к реальности или от реальности к слову. С онтологической точки зрения все три мира возникли одновременно в истории человечества. Что касается онтогенеза индивида, то ребенок приобретает языковые навыки в процессе одновременного познания мира (его членения) и его ословливания.

За последние десятилетия список базисных концептов человеческого общества (the alphabet of human mind), о котором писали еще Лейбниц, Декарт и Паскаль, не подвергся значительным изменениям. Нельзя говорить о появлении кардинально новых базисных концептов (см., например, список, предложенный Р. Джекендоффом (R. Jackendoff): «вещь», «место», «время», «направление», «пространство», «действие», «событие», «количество» и т. д.). Однако содержание некоторых базисных категории изменилось. Речь идет прежде всего о времени и пространстве. Изменения в категориях времени и пространства связаны прежде всего с развитием компьютерных систем и киберпространства. Например, такие концепты, как telecommuting (работа на дому, при которой связь с учреждением или предприятием осуществляется посредством персонального компьютера; ср. с русским «удаленная занятость»); e-shopping, e-government, e-banking (осуществление банковских операций на дому через компьютер), изменили наши

представления о пространстве и о времени, необходимым для его преодоления.

Вследствие появления различных форм коллективного мышления (group-thinking, think-tank, brain-storming), время, необходимое для кристаллизации концепта и его ословливания, сокращается, то есть сокращается пространство между тремя мирами и, соответственно, время протекания операций по формированию концепта и поиска соответствующей формы для его вербализации. Напомним в этой связи известное положение Л. Выготского о том, что превращение неясно формирующейся мысли в ясную речь проходит несколько фаз, то есть в пространстве и во времени между мыслью и словом укладывается несколько различных процессов: переход от мысли к ее сигналам, от смыслов – к внутреннему слову во внутренней речи, от внутреннего слова – к внешней речи (Выготский). Иными словами, процесс перевода с кода внутреннего лексикона (lingua mentalis) на код естественного языка – код внешний (Кубрякова) – ускоряется во времени. Итак, по Л. Выготскому, мысль творится в слове. Приведем в этой связи строки из стихотворения О. Мандельштама «Ласточка»: «Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется». Итак, мысль и слово едины, но не тождественны.

Помимо изменений в базисных категориях пространства и времени, можно говорить о появлении новых концептов, не являющихся базисными, но принимающих непосредственное участие в категоризации и членении мира. Речь идет прежде всего о таких новых секторах, как экология: ozone holes, acid fog, heat islands, energy belt, urban forests и т. д. Новым является указанный выше сектор киберпространства (cyber-crime, click-fraud, cyber-bullying, phishing). В русский язык прочно вошли такие термины, как фишинговая атака, буллинг. В последнем «Словаре языка интернета.ru» под редакцией М.А. Кронгауза перечисляются следующие английские заимствования, которые стали частью лексикона носителей русского языка – пользователей интерне-

та: Look – лук, OMG (Oh my God!) – ОМГ, Off topic – оффтоп, Proof – пруф, Trolling – троллинг, Trollface – троллфейс, True – тру, Facerpalm – фейспалм, Flame – флейм, Flood – флуд, Invite – инвайт, Like – лайк, Podcast – подкаст, Selfie – селфи, Smiley – смайлик, Spam – спам.

За последние десятилетия усиливается тенденция к антропоцентризму процесса концептуализации мира, что выражается в более детальной категоризации и субкатегоризации концепта *homo sapiens* во всех его ипостасях: *homo faber* (человек работающий), *homo loquens* (человек говорящий), *homo ludens* (человек играющий), *homo psychologicus*, *homo sociologicus* и, наконец, *homo agens* (человек действующий). При этом наиболее детальная субкатегоризация происходит в ипостасях *homo ludens* и *homo agens*. В результате в языке появились такие многокомпонентные единицы, как *soach potato* (человек, пассивно проводящий время у телеэкрана), *mouse-potato* (человек, пассивно проводящий время в играх за компьютером), ориентированных на *homo ludens*. Такие концепты, как *do-it-yourself*, *do-it-yourselfism* (практика осуществления строительства и ремонта самостоятельно, без помощи профессионалов), *all-at-once-ness* (процесс одновременного осуществления нескольких действий, ср. *multitasking*), *life-boat ethics* (этика спасательной шлюпки, когда за борт выбрасываются лишние люди), связаны с различными категориями и субкатегориями *homo agens*.

В последние годы наблюдается активизация социально-прагматически релевантных факторов в процессе концептуализации мира. Как в русском, так и в английском языках взаимодействие когнитивных и прагматических параметров стало объектом внимания многих лингвистов. Так, Ньютс (Nuys) предложил когнитивно-прагматическую теорию естественных языков, основанную на постулате о том, что человеческое поведение требует учета когнитивной инфраструктуры в человеческом сознании. Он считает, что когнитивные и прагматические аспекты не являются противопоставленными или дополняющими друг друга, но пред-

ставляют собой два различных измерения одного и того же явления. Другие лингвисты (например, Кашер (Kasher)) считают, что изучение прагматики должно стать частью теоретического исследования когнитивности. Для успешной коммуникации участники общения должны иметь прагматические знания, то есть знания об уместном употреблении лингвистических единиц в различных ситуациях общения. Несмотря на различия взглядов ученых на существование когнитивно-прагматического подхода к изучению языковых явлений, нельзя не признать того факта, что в реальности когнитивные и прагматические аспекты чрезвычайно тесно переплетены. Так, концептуализация и ословливание действительности во многом зависят от таких параметров широкого прагматического контекста, как социальный, профессиональный статус говорящих, их возраст, пол, этническая принадлежность и т. д. Один и тот же фрагмент действительности по-разному концептуализируется и ословливается представителями различных социальных, профессиональных, возрастных, половых и этнических групп. Так, представитель старшего поколения употребляет слово *ice-box* по отношению к *refrigerator*, *wireless* по отношению *radio*, в то время как подросток употребляет соответственно *fridge* и *boombox*. Например: «He'll pig out on whatever in the fridge, while listening to his boombox» (Сафир (Safire)).

С другой стороны, одна и та же языковая единица по-разному воспринимается представителями социальных, профессиональных и прочих групп. Например, *rain forest* (тропический лес) и его разрушение по-разному воспринимаются западным интеллектуалом и бедным индустриальным рабочим, проживающим в русле Амазонки.

Коммуникативно-прагматический подход к языку предполагает практику совместного ословливания мира, то есть со-вербализацию, с учетом широкого прагматического контекста, в котором находятся участники коммуникации. При этом коммуниканты, осуществляющие процесс совместного ословливания, должны иметь знания о па-

раметрах прагматического контекста, указанных выше, а также общие знания о мире. Именно эти прагматически-релевантные параметры накладывают ограничения на выбор соответствующей лексической единицы в процессе совместного ословливания. Для достижения желаемого эффекта в процессе коммуникации необходимо, чтобы коммуниканты находились в едином коммуникативном и когнитивном пространстве. Изучение лингвистических явлений в аспекте когнитивно-прагматического под-

хода должно иметь своей целью анализ структур человеческого сознания, в которых осуществляется хранение знаний о прагматически релевантных условиях уместности употребления лексических единиц. Это невозможно осуществить без учета изменений, происходящих в процессе категоризации и концептуализации мира. Таким образом, именно на пересечении прагматических и когнитивных исследований возможно выявление тесной взаимосвязи между языком и идентичностью.



## The People's Will: Direct and Representative Democracy in the Russian Imagination, 1844 to the Present



### Воля народа: прямая и представительная демократия в русском воображении с 1844 года до наших дней



*Stephen Lovell*

*Professor of Modern History, King's College London*

*Стивен Ловелл*

*профессор новой истории, Королевский колледж Лондона*

This presentation explored Russia attitudes to forms of democracy by considering seven Anglo-Russian political encounters – from the visit of Nicholas I to the Palace of Westminster in 1844 to Mikhail Gorbachev's visit to the United Kingdom in December 1984. The Anglo-Russian approach allows us to pull together two cases often viewed as exceptional. On the one hand, Russia: by some measures the least parliamentary European country, the most defiant old regime in Europe until 1917 and a one-party regime for much of the twentieth century. On the other hand, Britain: a country for whom parliamentary democracy is absolutely at the heart of its modern identity.

Even if these countries do represent opposite extremes, they have taken a good deal of interest in each other. Perhaps the most surprising example is Nicholas I. Often viewed as one of the most autocratic of tsars, who was just about to crush the merest suspicion of dissent in his empire in the wake of 1848, Nicholas I was deeply impressed by the reconstruction of Palace of Westminster under Charles Barry when he visited in 1844. This was a far cry from his apparently less favourable observations of British political system on his visit as heir in 1816–1817.

At this point two obvious qualifications are in order. First, England could always be presented as a special case. After all, Russia's most notorious conservative of the later nineteenth century, Konstantin Pobedonostsev, was an

Anglophile. But like any good conservative, he believed that forms of government evolved along with the societies in which they operated. What was sauce for the English goose was most definitely not sauce for the Russian gander. The second qualification is that Nicholas I was impressed more by the grandeur of the building as a symbol of British state power than by the finer points of the British constitution. He had just overseen a major reconstruction project of his own in the Winter Palace, rebuilt in record time after it burned down in 1837: he understood how important powerful buildings are.

It would, of course, be foolish to deny the existence of a strong anti-parliamentary trend in Russian intellectual life. One maverick representative of the tradition was Lev Tolstoy, our second example, who paid a brief visit to the House of Commons to hear a debate on his visit to London in 1861 and seems to have been unimpressed by what he saw and heard. Tolstoy, as would become ever clearer later in his life, had little time for any kind of structured political life.

The Slavophile alternative to Western representative democracy was the direct grass-roots democracy of the Russian peasant commune. This institution had its admirers even outside Russia. Our third Anglo-Russian example is the account left by Donald Mackenzie Wallace, a long-term visitor to Russia in the 1870s, who found village communes to be "capital specimens of representative Constitutional government

of the extreme democratic type". Wallace was in Russia at a moment of significant political innovation: the 1860s–70s saw more vigorous elections to newly constituted municipal dumas; elections to the all-estate body of the zemstvo; the populists' quest for the people, which culminated in the decision in the late 1870s by one section of the movement that the people could best be represented by acts of revolutionary terror; and a good deal of discussion, in government circles and beyond, about the possibility of an authentically Russian consultative assembly of the land.

In 1906, Russia would finally get its own parliament, the State Duma, which opened whole new vistas for Anglo-Russian political exchange. Perhaps the most distinguished and active participant was Bernard Pares, our fourth example, the founder of Russian Studies in Britain, who visited Russia frequently from 1904 onwards, leaving wonderful accounts of the 1905 revolution and early Duma period, as well as hosting a delegation of Russian parliamentarians in London in 1909. Pares took a notably favourable view of the Duma: its Nakaz (rules of order), for example, was "so good that in all the subsequent vicissitudes of the Duma, including the changes of majority, it was never seriously altered. Anyone who read it through would have said that, if this was the order of things in Russia, then Russia was already a constitutional state".

In Russia, nonetheless, all through the Duma period there remained powerful critics of parliamentary politics. One was N.N. Shipov, our fifth example, who in a 1908 pamphlet launched a coruscating critique of Britain's "despotic" parliamentary rule. Shipov ran through a classic set of anti-parliamentary and Slavophile arguments: that parliamentary authority is underwritten by a corrupt and partisan press; that places in parliament are secured by special interests through meretricious electioneering; and that government by parliamentary majority is capricious and far from rational. To this he counterposed Russia's more organic political community and "rule by conscience".

As a member of the monarchist Russian Assembly, Shipov was perfectly representative of the right-wing attitude to parliaments, and

indeed the Rightists in the Duma did everything they could to subvert the institution. But the essence of their anti-parliamentary critique would soon be taken up by a radical leftist regime. The Bolsheviks had no time for bourgeois "talking shops", which they viewed as expressing the vested interests of the bourgeoisie rather than representing the people.

My sixth example is an early Soviet visitor to the British parliament. In 1924, the Soviet stenographer V. Ostroumova was invited on tour of Houses of Parliament by the Labour politician George Lansbury. Ostroumova was struck by the fact that her British counterparts were older (rarely under 35), all male, and with journalistic experience rather than proper stenographic training. She concluded that stenography in the Palace of Westminster was much more about providing good copy for the newspapers, presumably with a suitable political gloss, than with producing an accurate record. Paradoxically, she saw the USSR as taking the public sphere of the stenographic transcript more seriously than the British.

Here we have another example of a foreign observer finding their preconceptions confirmed. But we should also recognize that central to the Bolshevik self-image was a certain notion of the public sphere, of mass popular participation, and of democracy. These ideas reached their symbolic fulfilment in the Stalin constitution of 1936 and the first universal suffrage elections in the USSR – to the Supreme Soviet in 1937. Never mind that this was election by acclamation or that hundreds of thousands of people who might have been tempted to vote the wrong way were being shot at the time.

This begs the question: is that all there is to be said about representative democracy in the Soviet period? Did it become nothing more than a hollowed-out ritual dependent on coercion? At least in the post-Stalin era, I think, the situation was a little more nuanced. A small clue is provided by my final example, Mikhail Gorbachev's visit to London in 1984. The occasion is mainly remembered for the rapport that Gorbachev established with Margaret Thatcher, but it is worth remembering that it took place as the latest in a series of reciprocal "parliamentary"

visits. In the mid-1950s, the USSR had been admitted to the Inter-Parliamentary Union, and it became important for the rubber-stamp Supreme Soviet to establish its credentials as a “people’s parliament”. Gorbachev, as we know, was increasingly an admirer of Western European social democracy, and along with that came a willingness to espouse deliberative politics along parliamentary lines. But, as a largely ceremonial participant in Western deliberative politics, he seems to have underestimated just how obstreperous parliaments could be. It is hard otherwise to understand how he could have imagined that his extraordinarily bold move of convoking a Congress of People’s Deputies in 1989 would make it easier for him to steer the country along his new course.

These seven Anglo-Russian encounters suggest that we should not succumb to Russian exceptionalism (or indeed to British exceptionalism) but think comparatively and connectedly. The modern world, from 1789 onwards, was asking itself searching questions about the nature, value and purpose of political representation. Russia’s rulers may have seen themselves as the last bastion against 1789-style radicalism or 1848-style liberalism,

but they were not by any means oblivious to the imperative for politics to be, at least on the symbolic level, of the people. And they were constantly positioning themselves politically relative to others – including the British, but by no means only the British. They were also operating at a time of vastly expanded means of symbolic expression – above all the press in the late nineteenth century and the audiovisual media in the twentieth.

Finally, let us remember that democracy is not just about institutional arrangements but also about practices (such as voting), about the symbolic relationship between rulers and ruled and about imagined political tradition; it is a question of identity. By now the Russian imagination has plenty to work with, not least the Tauride Palace, the ultimate lieu de mémoire, home of Russia’s main experiments in both representative democracy (the Duma) and direct democracy (the Soviet) and now home of Inter-Parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States. The post-1906 Duma is now attracting far more sustained and favourable attention than alternative points of reference – notably the direct democracy of the Petrograd Soviet – and gaining the status of a usable past.



## О самосознании подданных Российской империи (XVIII – первая половина XIX века)



### On the Self-Awareness of Subjects of the Russian Empire (18<sup>th</sup> – the First Half of the 19<sup>th</sup> Century)



*Евгений Михайлович Кожокин*  
профессор, проректор МГИМО МИД России  
по научной работе

*Evgeny M. Kozhokin*  
Professor, Vice-Rector for research, Moscow State  
Institute of International Relations (MGIMO-  
University)

Есть прямая корреляция между идентичностью и самоназванием индивидов, являющихся членами определенной макро-группы. Вряд ли трактовка идентичности как феномена виртуального или метафизического операциональна, особенно если речь идет об анализе реалий сегодняшнего дня, но aberrации в анализе прошлого влияют и на актуальную картину мира.

Конечно, занимаясь изучением прошлого, мы не можем не учитывать, какого рода понятия мы используем в качестве инструментов познания. Это могут быть понятия изучаемого времени, созданные людьми, к примеру, XIX века, у этих понятий чаще всего имеется определенный смысловой континуитет с понятием, используемым сегодня, даже если понятие уже не является рабочим для настоящего времени. Данную категорию понятий я называю органическими (*organic*). Вторая категория понятий – искусственные (*artificial*). Они рождены в XXI или в конце XX века, но мы их используем для лучшего понимания социальных феноменов XIX века. С их помощью мы анализируем то, что люди XIX века не видели, не анализировали, или видели, но по каким-то причинам называли другими именами. Самосознание или, как теперь модно говорить,

идентичность подданных Российской империи XVIII – первой половины XIX века – феномен вполне уместимый, так как в значительном количестве текстов того времени зафиксировано, как люди себя видели, кому противопоставляли и с кем себя ассоциировали. В качестве самоназвания использовались тогда два слова – «русские» и «россияне». В XVIII – начале XIX века значения в семантическом ряду русский, россиянин, русский, российский в значительной степени совпадали. Можно было сказать и написать не только «русский язык», но и «российский язык»<sup>1</sup>. Словом «россияне» можно было обозначить не только своих соотечественников из числа современников, но и своих исторических предшественников. Столь чуткий человек как историк и писатель Н.М. Карамзин в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» писал: «Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским или царским правлением были вообще лучше нас» [2, с. 22–23].

Дворянство являлось той социальной силой, опираясь на которую возрастала на протяжении XVIII века мощь Российской империи, в то же время государство самым активным образом постоянно занималось

<sup>1</sup> Так, граф Ф.В. Ростопчин писал императору: «Экзамен для производства в статские советники и коллежские асессоры переменить, требуя единственно от чиновников знания российского языка, российских законов, обряда судопроизводства и арифметики» [1, с. 8].

формированием этого служивого сословия. Табель о рангах Петра I явилась сильнейшим организующим началом в выстраивании внутриворонской иерархии, а также инструментом для пополнения рядов дворянства за счет грамотных и честолюбивых представителей других сословий. Петр Великий добивался полного слияния дворянства и государства. Грамота о вольности дворянства по сути не разрушила это слияние, но создала условия для последующего дистанцирования части дворянства от самодержавной военно-бюрократической системы. Служивый, государственный характер дворянства обусловил развитие у людей этого сословия идентичности, наиболее характерными чертами которой на протяжении XVIII века были патриотизм, то есть готовность защищать свою Родину, и верность государю императору. Насколько сила убежденности в эти ценности была велика, говорят величайшие победы, одержанные нашей армией под руководством дворян, офицеров и генералов в XVIII – первой половине XIX века.

Более чем предвзятый в своих мнениях о России человек, молодой польский аристократ, находившийся в последние годы царствования Екатерины II в Санкт-Петербурге, князь Адам Чарторижский отмечал: «Все долгие годы ее царствования армия, привилегированные классы, чиновники переживали свои счастливые и блестящие дни. Нет сомнения, что со времени ее восшествия на престол Московская империя поднялась значительно выше, чем в предыдущие царствования Анны и Елизаветы как в смысле улучшения порядка во внутреннем управлении, так и в смысле уважения за границей» [3, с. 46]. Военно-политическое могущество страны зиждилось на экономическом фундаменте, в эпоху до промышленной революции вполне конкурентном по сравнению с экономиками крупнейших европейских государств. Держава, игравшая все более значительную роль в делах Европы и Азии, не просто вызывала интерес у многих иностранцев, было много желающих переехать в ее пределы. Екатерина Великая приглашала на службу и на поселение на новых зем-

лях империи немцев, греков, болгар, армян. Выдающуюся роль в развитии и защите Российской империи сыграли дворяне из числа остзейских немцев. Из их среды вышли выдающиеся полководцы, мореплаватели, государственные деятели России. Среди офицеров русской армии неизменно имелся высокий процент остзейцев, более высокий по сравнению с их процентом в среде дворянства в целом [4].

Столь широкое распространение в XVIII веке слова «россияне», возможно, связано с тем, что данное слово в меньшей степени, чем слово «русские», коннотировалось с доимперским, московским пластом жизни. Новые подданные быстро превращались в россиян, при этом большинство из них сохраняло свою изначальную этническую принадлежность. Русскими они не становились, в XVIII веке лояльность вовсе не обязательно должна была сопровождаться переходом в православие и признанием и объявлением себя русским человеком. Величайший триумф Российской империи в XVIII веке, дворянской по своей социальной сути, породил убеждение – достаточно справедливое в ту пору – о беспрепятственной возможности включения в правящее сословие знатных людей различного этнического происхождения и разных вероисповеданий и конфессий. Верное служение империи остзейского немецкого дворянства служило особенно убедительным аргументом в пользу того, что на нерусских и неправославных можно полагаться не в меньшей степени, чем на русских и православных. Остзейские дворяне вполне могли называть себя россиянами.

Исключительно значимый рубеж в истории российского самосознания – Отечественная война 1812 года. Язык фиксирует эмоциональное состояние макрогрупп, он меняется под влиянием гигантских потрясений, которые периодически выпадали на судьбу нашей страны. 1812 год был ознаменован величайшим подъемом патриотизма, выявившего то, что можно назвать национальным единением. Пришло ощущение опасности не только для государства, но и для каждого человека, враг угрожал семье, дому. Сказалось и то, что



на генетическом уровне страх перед вторжениями сохранялся очень долго. Веками жили в ситуации опасности, страну не защищали ни моря, ни горы, жили на открытой равнине.

Феномен национального единства нашел отражение в языке. Была некоторая трудно уловимая грань в словоупотреблении. Можно было сказать «русский мужик» и не говорилось «российский мужик», в принципе можно найти словосочетание «российский солдат», но гораздо чаще говорилось «русский солдат». Все, что было связано с народом, было русским. А война 1812 года сблизил сословия, заставила ощутить их кровную взаимозависимость<sup>2</sup>.

В 1812 г. в личных письмах слово «русские» стало гораздо чаще употребляться по сравнению с довоенным периодом. И обрело некоторые новые нюансировки. Не в воззвании, не в рескрипте, а в личном письме со всей определенностью и категоричностью о новом значении русскости писал министр полиции А.Д. Балашов генерал-губернатору Москвы графу Ростопчину вскоре после начала войны: «Обращается Е.В. (Его Величество – Е.К.) к сердцу России, древней столице русской, Москве, где начальник русский, и государь вряд ли в своей свите будет иметь кого-либо, кроме русских. Но я быв в душе и сердце таковым, надеюсь, что меня возьмут» [1, с. 46].

Спустя месяц после торжественного марша союзных войск по Парижу граф Ф.В. Ростопчин писал своему старому другу С.Р. Воронцову: «Какое вам счастье, мой почтенный граф, иметь такого сына, как ваш. Он шел по вашим стопам, но ему выпала счастливая доля, которой вы не имели, – сражаться и пролить кровь для блага своего Отечества. Он Русский, он ваш Сын, следовательно, он должен иметь геройскую храбрость; что за прекрасная у него душа! Скромность равна в нем доблести. Лестно знать его своим соотечественником, почетно служить с ним вместе и быть ему признательным» [6, с. 87]. Победа над сильнейшей

в Европе армией и над одним из величайших в мировой истории полководцев не могла не наполнять гордостью за свой народ, народ весь в целом: как дворян, так и крестьян, как офицеров и генералов, так и простых солдат.

Слова «россиянин», «россиянка» употреблялись и после войны 1812 года, но вытеснялись словами «русский», «русская». Если слово «российский» указывало прежде всего на принадлежность к стране, к империи, как и слово «россияне», то словом «русский» обозначали особый склад мыслей и даже особый образ жизни. Адам Чарторижский, в 1804–1807 гг. являвшийся министром иностранных дел России, ни при каких обстоятельствах не сказал бы про себя, что он русский. Отделяя себя от своих, казалось бы, единомышленников, четко определял и ощущал существовавший водораздел, и, характеризуя его, он использовал именно слово «русский», в отличие от слов «российский», «россияне», в нем не было определенной двусмысленности. «Хотя я был близко связан с моими товарищами по Неофициальному комитету, – писал он в своих воспоминаниях, – но все же не мог вполне им довериться: их чувства, их постоянно проявлявшийся чисто русский образ мыслей слишком отличались от того, что происходило в глубине моей души...» [3, с. 214]. Невысокого ранга чиновник, собиратель сказаний И.П. Сахаров отделял прочие сословия от «русского народа». Во введении к своей книге «Сказания русского народа», изданной в 1835 г., он писал: «Тайные сказания русского народа всегда существовали в одной семейной жизни и никогда не были мнением общественным, мнением всех сословий народа» [7, с. 1]. Далее Сахаров развивал свою мысль, подчеркивая отдельность умственного существования русского народа от интересов и представлений образованных, имущих слоев населения: «Русское кудесничество мы представляем так, как оно обращается в устах народных, без перемены понятий и слов. Соблюдая это, мы сохраним, так сказать, словесность про-

<sup>2</sup> О близости быта офицера и солдата, о глубоком взаимопроникновении Москвы и глубинки в ту эпоху писал Ю. Лотман [5].

столюдиновъ, неизменный глагол многих веков, глас людей, отдаленных и понятиями и поверьями от нашей жизни» [7, с. 32].

Назначенный в 1833 г. министром народного просвещения граф С.С. Уваров говорил: «Завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно к той точке, где слиться должны к разрешению одной из труднейших задач времени образование правильное, основательное, необходимое в каждом веке с глубоким убеждением и теплой верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спа-

сения и важнейший залог силы и величия нашего Отечества» [8, с. 58–59].

Постепенное ослабление в самосознании подданных российских императоров имперского начала и усиление национального происходило на протяжении всего XIX века. В языковой сфере это проявилось в полном исчезновении из употребления слова «россияне». Эта ментальная трансформация предвещала кризис государственности, который Россия пережила в начале XX века и который привел ее к общенациональной трагедии в ходе революций 1917 года и гражданской войны.

## Литература

1. **Н.Ф. Дубровин**  
*Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.)*, РФ, Москва, Изд. ГПИБ России, 2006, 671 с.
2. **Н.М. Карамзин**  
*Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях*, РФ, Москва, Наука, 127 с.
3. **А. Чарторижский**  
*Воспоминания и письма*, ред. А. Алавердян, РФ, Москва, Изд. Захаров, 2010, 592 с.
4. **А. Казекамп**  
*История Балтийских государств*, Эстония, Тарту, Изд. Тартуского университета, 2014, 398 с.
5. **Ю.М. Лотман**  
*Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)*, РФ, СПб., Изд. Азбука, 2016, 544 с.
6. **О.Ю. Захарова**  
*Светлейший князь М.С. Воронцов*, Украина, Симферополь, Изд. Бизнес-Информ, 2012, 320 с.
7. *Сказания русского народа собранныя И.П. Сахаровым, в 2 томах, т. 1. Русское народное чернокнижие*, Российская Империя, СПб, Изд. А.С. Суворина, 1835.
8. **Э.Д. Днепров**  
*В Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций: Сб. научных трудов*, под ред. Э.Д. Днепров, СССР, Москва, Изд. НИИ общей педагогики АПН СССР, 1984, 244 с.



## Великое посольство Петра I: европейский опыт и национальная идентичность



### The Grand Embassy of Peter the First: European Experience and National Identity



*Ольга Владимировна Дмитриева*  
заместитель генерального директора  
по развитию просветительской  
деятельности и популяризации Музеев  
Московского Кремля

*Olga V. Dmitrieva*  
Deputy Director for Educational Programmes,  
Moscow Kremlin Museums

Великое посольство Петра I в Европу в 1697–1698 гг. стало для молодого царя, впервые в истории покинувшего пределы своего государства, уникальным опытом, своего рода «Большим туром», который предпринимали молодые аристократы в Европе XVI – XVII вв., чтобы набраться опыта, наблюдая нравы и обычаи других стран, знакомясь с их политическим устройством и культурой. Пребывание в чужих краях во все времена было одним из «обрядов перехода», важным этапом становления личности, ее качественного перерождения. В случае с Петром представление о саморазвитии в ходе путешествия было теснейшим образом связано с идеей служения государя России и общественному благу. Это блестяще выразил его сподвижник А. Нартов, оценивая значение Великого посольства: «Слыхали или читали ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал отдаленное странствование по чужим государствам единственно только ради того, чтоб просветить... себя науками и художествами, иметь свидание самолично с прочими государями, устно с ними о взаимных пользах говорить, утвердить дружбу и согласие, познать правительства их, обозреть города, жилища, изведать положение мест и климатов, примечать нра-

вы, обычаи и жизнь европейских народов, полезное от сего перенять, потом подобное водворить в отечество свое, преобразовать подданных и сделать себя достойными владетелями пространной монархии? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный!»

Представление об «ученичестве» Петра, который жадно познавал всё, связанное с развитием наук, техники, технологий и военного дела, о его готовности впитывать знания, о которой свидетельствует девиз на печати царя периода Великого посольства – «Аз бо усмь в чину учимых, и учащих мя требую», глубоко укоренены в общественном сознании. Однако порой эти клише создают искаженное представление о царе как «скромном ученике», поскольку осознание им собственного статуса было связано в первую очередь с тем, что Россия одержала в 1696 г. победу над Крымским ханством, вассалом Османской империи, и захватила крепость Азов. Петра повсеместно чествовали в Европе как победителя и защитника христианской веры, правителя огромной державы, которая была интересна европейским странам в качестве союзника по антиосманской коалиции. Мотив триумфа царя московитов звучал во время торжественного приема в честь Великого посольства в Амстердаме, с его фейерверками, грандиозной триумфальной аркой, аллегорическими фи-

гурами Марса и Геракла. Он прослеживается и в медалях, которые чеканились в Голландии и Германии в честь Петра. (Не случайно, обучаясь в Голландии искусству гравюры, царь взял за основу композиции одной из своих работ медаль, отчеканенную в Утрехте Яном Боскамом по заказу статхаудера Вильгельма Оранского, изображавшую аллегорическую победу христианской веры над мусульманами. Так упражнения в искусстве гравюры становились для царя эмоционально окрашенными воспоминаниями о недавнем триумфе его армии). В ходе посольства царь неоднократно позировал голландским художникам, изображавшим его с маршальским жезлом, в кирасе на фоне крепостных сооружений Азова. Новая европейская «имперская» иконография официальных портретов русского царя окончательно сложилась в работах Г. Неллера, придворного художника Вильгельма Оранского, писавшего царя в Голландии и в Англии. Интересно, что уже в 1697 г. в Голландии широко циркулировали гравированные портреты, выполненные с неллеровской версии поясного портрета царя как минимум двумя-тремя разными граверами. Картуши, украшавшие эти гравюры, представляли собой планы крепости Азова и военные трофеи русских войск. Неудивительно, что Петр осознал огромный потенциал светского парадного портрета, гравировального искусства и медальерного дела в деле визуальной пропаганды и по возвращении активно способствовал их насаждению на русской почве. Заимствуя распространенные в Европе жанры искусства и художественные формы, он наполнил их новым содержанием, которое определялось насущными политическими и пропагандистскими целями.

Распространено представление о Петре, который с восхищением взирал на всё, предложенное европейской цивилизацией, и стремился к «европеизации» и рабски копировал увиденное, в то время как корректнее было бы говорить о его стремлении к *модернизации*, о колоссальном интересе не только к Европе, но и к Востоку (о чем свидетельствовали интенсивные дипломатические

контакты с Китаем, формирование у Петра ценнейшей коллекции китайских артефактов), планы проникновения в Индию, экспедиции на Маврикий и т. д. Петр I искал для России места в глобальном мире, осмысляя преимущества контактов как с Западом, так и с Востоком.

Погрузившись в мир современной европейской науки, царь увлеченно осваивал астрономию, математику, физику, медицину, биологию. Важнейшим инструментом познания в этой сфере были универсальные коллекции – кунсткамеры и естественнонаучные кабинеты. Петр первым приступил к формированию в России подобных энциклопедических собраний, которые легли в основу Санкт-Петербургской Кунсткамеры – первого отечественного публичного музея, в свою очередь ставшего ядром Российской академии наук.

Петр был первым из русских правителей, кто осознал важность исторического и культурного наследия своей страны. В этой сфере его деятельности опыт, полученный в ходе Великого посольства, был неоценим. Впервые он познакомился с коллекцией исторических древностей в Амстердаме, посетив кабинет Якоба де Вильде, где увидел античные терракоты, египетские украшения, медали и монеты, римские камеи. Это была его первая встреча с прошлым мировой цивилизации, которая превратила царя в коллекционера антиков, глиптики, древних монет и медалей. Она же определила интерес царя к древностям, происходившим из его собственных владений. Благодаря Петру были заложены основы отечественной археологии и этнографии, началось научное изучение огромных пространств Сибири, сформировалась Сибирская коллекция произведений так называемого «звериного» или «скифского» стиля, которая в настоящее время хранится в Государственном Эрмитаже. С его именем связаны и первые меры по защите памятников исторического и культурного наследия от варварского уничтожения – указы о наказании «черных копателей», грабивших погребальные курганы кочевников Сибири, предписания о фиксации на планах

мест археологических находок и о передаче древних артефактов в Берг-Коллегию.

Важные импульсы, связанные с формированием отношения царя к историческому и культурному наследию, а также с осознанием его важности в деле сплочения народа и формирования национальной идентичности, он получил в Англии. Посещая Лондонский Тауэр, Петр впервые увидел здесь впечатляющие экспозиции королевских регалий, исторического оружия, а также знаменитую «линию королей» – фигуры английских монархов верхом, в парадном облачении, которые демонстрировали широкой публике. Это был первый опыт его столкновения с монаршими персонами и мемориальными предметами как объектом «музеефикации». По возвращении в Москву царь повелел заложить в Кремле здание Арсенала, где должно было экспонироваться историческое оружие. После победы в Северной войне (1721 г.) Петр устроил в Кремле первую публичную экспозицию трофеев, захваченных у шведов, – «Шведский зал», демонстрировавший знамена, шпаги, личные вещи Карла XII, булавы гетмана Мазепы.

После переноса столицы в Санкт-Петербург Петр I, осознавая историческую значимость династических регалий и мемориальных памятников, хранившихся в Кремле, распорядился в 1718 г. перенести всё самое ценное из сокровищницы российских государей в специально отремонтированную и парадно украшенную Казенную палату. Царские облачения и регалии – венцы и державы – следовало поместить в дубовые шкафы «за стекла, чтобы явственно было». Так были предприняты первые шаги по музеефикации раритетов царской сокровищницы и представлению их публике, которые привели к превращению Оружейной палаты Кремля в публичный музей в начале XIX в.

Трудно не согласиться с С.М. Соловьевым, который обобщил результаты «большого тура» Петра по Европе: «Заграничное путешествие, это расширение сферы практической деятельности, окончило воспитание Петра. Как человек силы, он воспользовался всем, что представил ему богатый цивилизацией Запад, но возвратился более русским, чем выехал из России».



## Russian Collections at the British Library as Information Resource and Cultural Experience: Past, Present, Future



### Русские коллекции в Британской библиотеке как информационный ресурс и культурный опыт: прошлое, настоящее, будущее



*Ekaterina Rogatchevskaia*  
Lead Curator East European Collections, British  
Library

*Екатерина Рогачевская*  
ведущий куратор восточноевропейских  
коллекций, Британская библиотека

The first fifteen books published in Russia were acquired by the British Museum as part of the private collection of Sir Hans Sloane (1660–1753), who was an honorary member of the Russian Academy of Sciences. Some Russian and Slavonic books were in the Library of King George III, donated to the British Museum in 1823. However, foreign books and periodicals could not be collected systematically not only because scholarly interest in them was almost non-existent, but also due to lack of financial resources and linguistic skills.

By the end of the 19<sup>th</sup> century the situation had considerably improved. In 1837, Antonio Panizzi (1797–1879) became Keeper of Printed Books. He held this post till 1856 and for the following ten years served as Principal Librarian. Panizzi and his assistant Thomas Watts (1811–1869), a talented linguist and polyglot, became instrumental in reforming collection development in the Library. Command of Russian, other Slavonic, Scandinavian or other rare languages was a rarity in 19<sup>th</sup> century Britain, as tuition was not available. Watts taught himself languages by intensive reading, and before joining the Library on payroll had been helping to catalogue foreign language material on a voluntary basis. Having compared the British Museum Library holdings of foreign material with sales catalogues and bibliographies originated in the countries of origin, Panizzi

presented these findings to a Parliamentary Committee in 1846, and as a result of this the allowance given to the Library for purchasing materials was raised from four and a half to ten thousand pounds. Thus, Panizzi's and Watts's ambitions to create best collections of foreign materials outside the country of origin (e.g. the best Russian collection outside Russia) resulted in building one of the most important research resources in the UK and the world that responded to the growing interest in Russia, but also shaped and informed this interest, as well as the future scholarship in the Russian Studies in the UK.

From the middle of the 19<sup>th</sup> century to nowadays various trends in the acquisition patterns and collection development were linked to a number of internal and external factors, such as staff's personal interests (or lack of it) in the subjects and languages, the general political and economic situation in Britain and abroad, and trends in British foreign policy. For example, after Great Britain had established diplomatic relations with the Soviet Union in 1924 following a long break caused by the October revolution of 1917, Slavonic studies started to emerge as a popular academic discipline which also influenced collection development. The Cold War and later *Perestroika* and *Glasnost* in the USSR and the velvet revolutions in Central Europe also catalysed scholarly activities in the field of

Russian and Soviet studies which consequently had a significant impact on the Russian, Slavonic and East European collections.

At the end of the 19<sup>th</sup> century the Russian émigré community in London played an active part in advising and suggesting material for the Russian collections, as they used and shaped the collections. Prince Petr Kropotkin and Vladimir Burtsev wrote lengthy letters to the Museum authorities supplied with desiderata lists, while many others, including V. Lenin, donated books to the Library. The Russians (or Russian speakers) who lived in Britain and used the British Museum Library “appropriated” the Russian collections and were happy to share with the British Museum staff their knowledge of the culture and the book market, as well as their passion for the collections and responsibilities for its growth. I would argue that the Russian collections at the British Museum Library could be discussed in the framework of cultural heritage which will help us to understand the role of national cultural institutions in the UK in collecting and curating foreign cultural heritage.

At present the depths and breadths of the Russian collections at the British Library could be summarised as the following list of highlights:

- over 70 Old Slavonic manuscripts and 88 early printed (16–17<sup>th</sup> century) Slavonic books;
- rare 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> century Russian books and periodicals;
- comprehensive collection of Russian 19<sup>th</sup> century publications;
- fairly full collection of Russian émigré publications;
- one of the best collections outside Russia of Avant-garde books;

- a representative collection of original posters;

- general collection of modern printed books;

- special collection of independent Russian press of the post-Soviet period;

- newspapers, maps, sound recordings, electronic databases, archives on microfilms.

The future of the collections is not only in continuing to acquire the most important print outputs in the Russian language produced in the Russian Federation and globally, but also by providing access to full-text databases of archives and periodicals, connecting to free online resources, and creating research resources and collections. For example, the British Library records selected TV programmes, including RT, which are available for the readers. Another example of shaping the future is *Russian in the UK Collection* in the UK Web Archive, which is being done by a Collaborative Doctoral PhD student supported by AHRC. We aspire to document the process of creation a special collection reflecting simultaneously on the research potential of the resource and identifying the discourse where such a collection could work for researchers in our area and the Russian speaking community, as this project also aims to preserve its digital heritage. The transition that we are making “from documents to data” is unique. It gives a wide range of options to design and describe collections.

Studying the Russian collections gives us knowledge and understanding of various historic and theoretical issues, including the British society, UK – Russia relations, or the role of cultural institutions in preserving cultural heritage of various communities.



## Миссия современного архива: доктор исторической памяти или похороны актуального прошлого



### Mission of the Modern Archive: Doctor of Historical Memory or Funeral of the Actual Past?



*Андрей Константинович Сорокин*  
директор Архива социально-политической истории

*Andrey K. Sorokin*  
Director of Russian State Archive of Socio-Political History

В 1902 г. член британского парламента Генри Норман опубликовал книгу под названием «Все России: путешествия и исследования в современной Европейской России, Финляндии, Сибири, на Кавказе и в Средней Азии». Сегодня мы всё так же вправе задавать этот вопрос во множественном числе. Россия не была и не является традиционным национальным государством, геополитические и этнокультурные границы которого более или менее совпадают. Между тем Россия, российский, русский, русскость употреблялись, употребляются и, видимо, будут употребляться так, словно они равнозначны по отношению к национальной идентичности. На протяжении XX века часто внутри России и СССР и за их пределами названные понятия использовались именно как равнозначные политической и гражданской идентичности.

Проблемы идентичности вряд ли можно считать вполне проработанными. В пространстве дискурса мы находим понятия: национально-цивилизационная, макрополитическая, религиозная, конфессиональная, инокультурная, пространственно-территориальная, социокультурная, онтологическая, этническая, гражданская, политическая, гибридная, идейно-политическая и другие идентичности. Политологи признают «отсутствие в политической науке общего дискурса идентичности». В результате нынешние част-

ные дискурсы зачастую представляют туманные смыслы либо создают усилиями публичных интеллектуалов и политиков почву для политического манипулирования. Причем это не сугубо российская, а общая для современной политической науки и социогуманитарного знания проблема. Однако обретение идентичности важно не только для акторов политического процесса, но и для обычных граждан. Проблема идентичности есть проблема ориентации и как таковая требует саморефлексии и самоопределения, с помощью которых индивид может позиционировать себя в физическом, социальном и моральном пространствах. Таким образом, исторический нарратив занимает ключевое место в идентичности. Между тем современное российское общество переживает кризис исторического сознания. За короткий по историческим меркам период российский социум успел по несколько раз поменять оценки одних и тех же исторических личностей, процессов и событий. В XX веке российские элиты дважды (в 1917–1922 и 1991–1993 гг.) до основания сносили построенное их предшественниками, ошибочно принимая кризис развития за его тупик.

После распада СССР все бывшие союзные республики и страны соцлагеря столкнулись с необходимостью формирования своих национально-государственных идентичностей на основе наличных символических ре-



сурсов, главным образом представлений о прошлом. «Публичная история» захлестнула общественное сознание, в том числе его массовый и «элитарный» сегменты. В случае России задача изначально выглядела сложнее, что было связано с множеством факторов структурного и субъектного характера. Этот процесс стал реакцией на политический по характеру слом 1991–1993 годов. Он произошел не в результате достижения общего консенсуса по поводу необходимости смены парадигмы общественного развития, а в результате совпадения во времени и пространстве ряда политических по преимуществу факторов. Естественной реакцией социума стала попытка отразить происшедшее, докопаться до причин, спрогнозировать варианты дальнейшего развития. Подчеркнем реактивный, а не проактивный характер этого процесса в российском общественно-политическом пространстве.

Российский дискурс идентичности с течением времени всё более интенсифицировался, главным образом под влиянием внешних обстоятельств. Уже первые результаты реализации нового социально-экономического курса привели в начале 1990-х к отторжению большинством населения либеральных ценностей в целом. Военные акции западной коалиции в 1990-е, выход в начале 2000-х США из советско-американского Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года включили разгонный блок оборонного сознания.

В процессе строительства национальных государств на постсоветском и посткоммунистическом пространствах их элиты искали основания в историческом прошлом, причем, разумеется, основания исключительно позитивные. Героизм и / или жертвенность в отношениях с соседями остаются двумя главными профилирующими характеристиками национально-государственного нарратива. Советский Союз и Россия стали символическим врагом, в противостоянии с которым усилиями своих элит формировались новые национальные государства. Из области символической эта проблема быстро перекочевала в сферу практической

политики, поскольку Россия признала себя правопреемником СССР. Отождествление современной Российской Федерации с СССР, тиражирование негативистских образов, включая персонализированное уподобление современных лидеров одиозным деятелям прошлого, наполняют пространство публичной истории по всему миру, не исключая и самой Российской Федерации.

Во всех названных компонентах общественные дебаты в России неизбежно возвращались к историческому прошлому, которое не было отразено, а было попросту отодвинуто за ненадобностью на задворки общественного сознания. Общество занялось поиском в историческом прошлом ответов на актуальные вопросы текущей политики – в сфере социальных отношений, экономики, внешней и оборонной политики. «Россия в поисках себя» – эта метафора как нельзя лучше отражает процесс, происходящий в российском общественном сознании. В политической риторике, как и в историографии, основным форматом репрезентации прошлого является нарратив, то есть сюжетно оформленное повествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий. Множество нарративов является одной из профилирующих черт российского процесса «поиска себя». Нарративы эти в большинстве случаев сформировались случайно, имеют характер умозрительных конструкций, произвольных интерпретаций исторических событий и процессов, намеренных или ненамеренных фальсификаций. Их множество объясняется высокой степенью сегментации общественного пространства. Каждая социальная группа производит и транслирует свой собственный нарратив.

Преодоление кризиса исторического сознания, обретение некоей общей идентичности становится возможным благодаря кардинальным изменениям, достигнутым за последние два десятилетия в архивной сфере. За последние 28 лет российские архивы из закрытых для широкого использования учреждений с выраженной главенствующей функцией охраны ретроспективной информации превратились в полноценные публичные

гражданские институты, открытые для отечественных и зарубежных исследователей. Они стали субъектом так называемой «архивной революции», в результате которой были рассекречены и опубликованы сотни тысяч документов советской эпохи. Результатом стала новая политическая история России. Эта новая история не принесла тотального обрушения исторического сознания общества, но поставила перед интеллектуальной элитой общества задачу освоения наследия, а перед элитой управленческой – задачу инструментализации исторического опыта.

В результате «архивной революции» государство утратило роль монополиста в сфере политики памяти. Общество получило возможность создавать собственные нарративы и транслировать их. Именно этот процесс активной публикации ретроспективной информации и отличает кардинально современное положение дел. Еще одной из метафор, родившихся в последнее время, стало уподобление архива «доктору исторической памяти». Ее рождение отражает мнение большинства российских архивистов и историков об архиве как хранилище национальной памяти и инструмента гражданской идентификации.

«Интеллигент – диагност и даже не лекарь народа. Народ сам залижет и вылечит свою рану, если ее почует, только он не умеет вовремя замечать ее. Впрочем заметить и указать ее – дело интеллигенции... ее дело: *caveant consules*» (Пусть будут бдительны консулы) – так более ста лет назад определял задачу классик российской исторической науки профессор В.О. Ключевский. Существует, однако, и противоположный подход к роли исторического знания в современном обществе. Исторический дискурс говорит нам о прошлом, чтобы похоронить его. Историческое письмо играет роль погребального обряда, говорит наш современник Мишель де Серто. Согласиться с таким подходом очень трудно. По моему убеждению, огромное количество современных проблем коренится именно в недавнем историческом прошлом, конкретно – в наследии эпохи Великой (то есть первой мировой) войны.

Сегодня профессиональное сообщество российских архивистов видит смысл и возможности в такой репрезентации ретроспективной информации, чтобы представить исторический процесс в его многомерности, с его провалами, ошибками, преступлениями, но и достижениями каждого из исторических периодов развития. Историческое прошлое должно перестать быть орудием политической борьбы. Надеяться на достижение этой цели наивно, но эта констатация не устраняет ни наличия проблемы, ни необходимости поиска путей ее решения. Для продвижения к этой идеалистической цели необходимо сблизить «публичную историю» с историей профессионального историка, ввести профессиональный нарратив в публичное общественное и политическое пространство, либо продемонстрировать авторам публичных нарративов наличие ограничений и пределов интерпретаций в виде существующих массивов документарной информации.

Центром внимания при этом является содержание формируемого нарратива. Публично выступая, позволяю себе использовать понятие «архивного (источникового) абсентизма», то есть сознательного уклонения автора нарратива от работы с архивными документами. Многочисленные комплексы архивных документов, давно рассекреченные, очень часто остаются не востребованными, а листы их использования – пустыми. Облегчить доступ «историку» к документарной информации призвана работа, проводимая федеральными архивами. В ближайшие год-два будет завершена оцифровка описей архивных дел, хранящихся в них. Все желающие получают в онлайн-режиме свободный доступ к поисковым системам гигантских информационных ресурсов по российской и мировой истории. С другой стороны, российские историки и архивисты проделали огромную работу – вышли и продолжают выходить в свет многочисленные серийные и многотомные публикации исторических документов, созданы интернет-ресурсы, на которых выложены для открытого пользования пофондово оцифрованные архивные

документы исключительной ценности (назовем хотя бы оцифрованный и выложенный в интернет личный фонд Сталина). В этой связи важно отметить одну из инициатив последнего времени. Речь идет о сайте «Документы советской истории», на котором уже выложен в открытом доступе ряд важнейших комплексов документов по советской истории.

Архив перестал быть складом пыльной резаной бумаги. На передний план выведена функция актуализации и репрезентации историко-культурного наследия. Реализация этой функции невозможна без преодоления ряда черт, доставшихся современному архиву от предшествующего исторического периода. В этой связи следует сказать, что продолжается процесс рассекречивания документов, хотя предстоит еще многое сделать для достижения необходимого баланса между режимом охраны документов и режимом их доступности.

Архивы приступили к самостоятельному созданию нарративов. Позволю себе привести один пример. В 2005 г. группа историков и архивистов получила медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за выпуск в свет семитомного собрания документов «Истории сталинского ГУЛАГа». Это не просто тематическая публикация прокомментированных документов. Это издание, выстроенное в результате ряда целенаправленно осуществленных последовательных интеллектуальных операций. Их результатом стали тома документов, посвященные темам: «Массовые репрессии в СССР», «Карательная система», «Экономика ГУЛАГа», «Население ГУЛАГа», «Спецпереселенцы в СССР», «Восстания, бунты и забастовки». Обширные аналитические предисловия к каждому из томов проекта в совокупности создают новое качество знания по проблеме. По моим представлениям, такого рода проекты, перечень которых может быть продолжен, являются полноценными локальными нарративами.

Аналогичным образом следует охарактеризовать коллекции документов, создаваемые сегодня в рамках историко-доку-

ментальных выставок. Назову в этой связи выставочный проект «Лидеры советской эпохи», в рамках которого российскому обществу были представлены и проанализированы важнейшие документы, характеризующие деятельность руководителей Советского Союза применительно к важнейшим событиям советской и мировой истории. За два последних года осуществлены два других важнейших выставочных проекта: «Мюнхен-38. На пороге катастрофы» и «1939 год. Начало Второй мировой войны».

Итак, для меня архив – это публичный культурный институт громадного значения, в опоре на который должен развиваться поиск путей общественного развития, производство смыслов существования социума. Фрагментация российского общественного сознания по отношению к целому ряду проблем исторического прошлого существует. Это явление имеет объективный и принципиально и, вероятно, неизживаемый характер. Ведь еще Макс Вебер отметил, что историчность невоспроизводима, так как определяется уникальными пространственно-временными координатами. Она изначально открыта для конкурирующих интерпретаций. Однако не вижу в этом серьезной проблемы. Наоборот, скорее основание для сдержанного оптимизма. В практиках работы с исторической памятью хорошо известен подход, признающий продуктивность взаимодействия конкурирующих интерпретаций и множественных подходов к анализу и оценкам исторического прошлого (концепция «напряженной истины» Рикера). Напряженный конфликт интерпретаций – необходимый элемент продуктивного научного и общественного поиска. Именно в результате такого взаимодействия рождается «напряженная» истина. Преодоление интерпретационного конфликта предполагало бы насилие, способное привести лишь к примитивному редукционизму. Такая плюралистичная история способна выполнять и важнейшую терапевтическую функцию, приучая адептов крайних подходов к существованию друг друга и к необходимости сосуществования друг с другом. Такой подход позволяет

гражданам различных взглядов чувствовать сопричастность к единому телу гражданской нации и государству как общему дому для всех.

Не может не вызвать однако беспокойства чрезмерная острота дебатов и господство ценностных ориентаций не в интерпретациях, а в ткани анализа, предшествующего созданию нарратива. Это не позволяет создавать даже полноценную картину анализируемого предметного поля, не говоря уже о самом нарративе, который еще до момента своего создания запрограммирован на ущербность. Рискуя показаться неполиткорректным, я в этой связи часто говорю о задаче принуждения общественного сознания к позитивному знанию. Не в том смысле, что мы должны знать и помнить лишь положительные страницы национальной истории, а в том смысле, что должен восторжествовать позитивистский подход к анализу исторического прошлого. Господство научно установленного факта, зафиксированного в документах, – вот что должно лечь в основу обращения к сложным страницам исторического прошлого, предварять любые попытки его интерпретаций. В этом смысле архив с большой буквы, хранящий национальную историю во всей ее

полноте, со всеми ее взлетами и падениями, способен сыграть роль доктора исторической памяти. Архив способен вооружить многочисленных авторов разнообразных интерпретаций необходимой фактографической базой и инструментарием.

Российскому обществу вряд ли удастся достигнуть согласия в оценках прошлого. В нашем случае это может оказаться контрпродуктивным. Но добиться примирения со своим прошлым, найти в своей персональной и в коллективной национальной памяти место и для трагических, и для победных страниц – это, пожалуй, главная задача. Специально следует сказать, что сегодня нет и не может быть монополии на интерпретации исторических событий со стороны национальных историографий. Только совместными усилиями, вовлекая в научный и общественный оборот всё новые пласты документальной информации, можно рассчитывать на адекватный анализ проблем, остающихся для нас актуальными. Как написал более ста лет назад дуайен российской историографии профессор В.О. Ключевский, «если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее».



## What is Heritage? British and Russian Questions and Answers



### Что такое наследие? Британские и русские вопросы и ответы



*Catriona Kelly*  
Professor of Russian,  
University of Oxford

*Катриона Келли*  
профессор русского языка,  
Оксфордский университет

This paper drew on research for an AHRC-sponsored project on national identity (Russian National Identity: Traditions and Deterritorialisation, 2007–2011) and an AHRC Fellowship on the Russian cinema (The Soviet Cine-Underground: Lenfilm (the Leningrad State Film Studio) and the Transformation of Late Soviet Culture, 1956–1991, 2015–2017), and on the publications resulting [1–4]. Its purpose was to examine the political and social history of heritage preservation, and in particular, the implicit hierarchies of value that have led individual works of art, and sometimes entire art forms, to be classified as marginal in heritage terms.

For different reasons, architecture and cinema had a less secure place in the heritage canons of Russia / the Soviet Union and Britain during the late nineteenth and early twentieth centuries than, say, literature, painting, classical music, or theatre and performance arts. Both in Britain and in the USSR, architectural heritage was subject throughout the late nineteenth century, and during the decades after the First World War, to neglect and at times aggressive intervention (the infamous demolitions of churches in Russia during the 1920s and 1930s were not only a reflection of the state commitment to radical atheism, but of a city planning ethos that had also fostered the destruction of medieval and baroque churches in nineteenth-century London) [5].

In both countries, a turning point was reached in the aftermath of the Second World War, when destruction in the wake of enemy action produced a new commitment to preservation of the past, as expressed in the RSFSR Decree on the Preservation of Architectural Monuments in 1947 and, in the United Kingdom, by the listing of architectural monuments at government level, and, in the voluntary sector, by the National Trust's transformation from an organisation focused primarily on the promotion of public ownership of landscape to one at least equally concerned with the custodianship of buildings, particularly large country houses.

Cinema, on the other hand, was originally understood as an art form of radical modernisation, and in the USSR particularly was characterised by advocacy of assaults on monuments as signifiers of the old regime (see e.g. Sergei Eisenstein's *October*, 1927, or Friedrich Ermler's *A Fragment of Empire*, 1927). However, the War changed attitudes here too: already in 1943, Eisenstein was arguing that cinema was not just an ideal medium for recording assaults on the Soviet patrimony by the Nazi invaders, but was itself part of national heritage, and from the late 1940s, the State Film Fund was transformed from a repository for film stock into a full-scale national archive of film.

In Britain, on the other hand, the British Film Institute's primary remit was and is

the promotion of cinema, rather than the custodianship of national heritage, and its excursion into the custodial role (through the foundation of the Museum of the Moving Image in 1988) in fact lasted only a decade (the Museum closed in 1999 and there is currently no state museum of film art). In Britain, “heritage cinema” has tended to mean cinema as heritage than films which celebrate heritage – witness the long-standing ubiquity of literary adaptations and other movies set in the past, whether made for the big screen or for TV.

In turn, British practice, for instance the “classic serials” made by the BBC in the 1960s, starting with *The Forsyte Saga*, exercised a very significant influence when the Soviet film and TV

industry took a “historical turn” in the late 1960s. *The Forsyte Saga*, hugely popular when shown on Soviet TV, was followed by large numbers of mini-series based on classic literature made by Soviet directors, which became the yardstick of “quality TV”, as they had in the UK. Among particularly interesting cases of convergence were Igor Maslennikov’s adaptations of *Sherlock Holmes*, with Vasily Livanov in the title role, and later shown on British as well as Soviet TV. In both countries, they were symptomatic of a whole “heritage boom” in the 1970s – 1980s – early 1990s, in which precisely the previously neglected art forms, architecture and cinema, were to be of central importance – a situation that in some respects persists to this day.

## References

1. **C. Kelly**  
*Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918-1988*, USA, IL, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2016, 413 pp.
2. **C. Kelly**  
*Nations and Nationalism*, 2018, 24, No. 1, 88.  
DOI: 10.1111 / nana.12375.
3. **C. Kelly**  
In *Reading Russia: A History of Reading in Modern Russia*, Eds D. Rebecchini, R. Vassena, Vol. 3, IT, Milan, Ledizione, (in preparation) 2019.
4. **C. Kelly**  
*Soviet Art House: Lenfil'm Studio under Brezhnev* (forthcoming).
5. **F.H.W. Sheppard**  
*The Treasury of London's Past: An Historical Account of the Museum of London and its Predecessors, the Guildhall Museum and the London Museum*, UK, London, HMSO Publications, 1991, 207 pp.



## The British Museum and the State Hermitage Museum: Collaboration, Exhibitions, Research



### Британский музей и Государственный Эрмитаж: сотрудничество, выставки, исследования



*St John Simpson*  
Assistant Keeper,  
Department of the Middle East, The British Museum

*С. Джон Симпсон*  
Помощник хранителя,  
Отдел Ближнего Востока, Британский музей

Museums are centres of soft power and the significance of history, culture and connections are part of our institutional DNA. All museums, whether large or small, share the same values and speak the same language. In Britain, as in Russia, many of our major museums and cultural institutions have suffered as a result of conflict. Around the world we see repeated examples where culture is considered a target: it is because of this that it is sometimes seen as a threat, as in Afghanistan, Iraq, Syria or Yemen where extremist Taliban, DAESH and other Jihadist groups have sought out and attempted to eradicate figural imagery, monuments and museums celebrating national heritage and history. This is our challenge and our opportunity: leading museums have a major role to play in the vocalisation of the message that through preservation, research and dissemination we can show the world why culture matters, how it helps define who we really are, that we are stronger together, and that long-term collaboration and trust offer the best results.

The British Museum is a universal museum founded in 1753 with guaranteed free access to the collection. We have regularly re-displayed our own collections as we have re-interpreted their significance, we loan objects around the UK and internationally and showcase our entire collection online. Students and scholars research the collection in study rooms, many others

engage with the museum through the public programme of events, and we mount several special exhibitions each year which allow us to explore topics or regions not represented in our own collection.

In Russia, our main partner is the State Hermitage Museum but we have also loaned a Sakha mammoth ivory model to Yakutsk in April 2015, hosted many Russian scholars at conferences at the British Museum, and worked with others on excavations or in other fields of research. Curatorial contacts between the Hermitage and the British Museum began in the nineteenth century but it is in 1935 that we have the first record of one of our staff visiting Russia for an academic conference: this was on the occasion of the Persian Art exhibition at the Hermitage and was attended by Harold James Plenderleith (1898–1997). Plenderleith worked in the Museum's Research Laboratory from 1931–1959, and spoke on his pioneering research on the authentication of Luristan and other Iranian metalwork [1]: the contorted animal imagery on these objects was also attracting attention by Russian and western European scholars within the context of defining the cultural connections and temporal and spatial boundaries of Scythian "Animal Style" and Celtic art. The conference was massive with 218 delegates from 24 countries and the programme consisted of 62 papers [2]. Plenderleith was one of a small number of

English academics who attended this conference and, although there have been several papers on the impact of the exhibition which triggered this conference [3–6], there is more to be researched into the individual and institutional relations during this period.

During the 1960s and 1970s, there were further personal contacts and exchanges. In August 1960 Richard Barnett, Keeper of the Department of Western Asiatic Antiquities (now Middle East) attended the XXV<sup>th</sup> Orientalist Congress in Moscow and then paid a visit to Dr B.B. Piotrovsky's excavations at the Urartian fortress of Karmir Blur. In return, knowing that Barnett had published a paper a decade earlier on the Urartian collection in the British Museum [7], Dr Piotrovsky corresponded about his excavations, in one case adding photographs of some of the massive store-rooms<sup>1</sup>, and, on behalf of the Armenian SSSR, he presented a pottery jug found inside one<sup>2</sup>. In 1979 we loaned the Oxus Treasure to the Hermitage: this is a unique collection of mainly fifth / fourth century BC Achaemenid gold and silver items found at a site on the right bank of the Amu dar'ya (classical Oxus) in about 1877, and acquired and bequeathed to us twenty years later by another former curator, Sir Augustus Wollaston Franks.

In 1991 UNESCO organised a project designed to open areas of dialogue on the premise of the Silk Roads and from April to June dozens of Soviet and foreign academics travelled together across the five republics of Central Asia and participated in conferences and other cultural events. This was a watershed moment personally and created an opportunity for longer-term academic relationships to develop as a result. Later that year I revisited Turkmenia, spoke at conferences, and from 1992 to 2000 excavated as a co-director of a new archaeological expedition to ancient Merv. The team was fully international and included many specialists from the State Hermitage Museum, Pushkin Museum and the Institute for the History of Material Culture, St. Petersburg (Russian Academy of Sciences).

In 2014 the British Museum and State Hermitage Museum began a series of other collaborative ventures, beginning with the loan of our Ilissos sculpture to mark the 250<sup>th</sup> anniversary of the foundation of the Hermitage, and the first occasion we had loaned a Parthenon sculpture. In 2017 we opened a major special exhibition – *Scythians: warriors of ancient Siberia* (fig. 1) – to mark our part in Britain's commemoration of the centenary of the Russian Revolution. The exhibition was a huge success and opened people's eyes to the antiquity of culture on the Eurasian steppe, the achievements of the early nomads of that region, and the fabulous preservation of clothing and even food remains in "frozen tombs" at Pazyryk in the high Altai mountains. It was also an opportunity to collaborate on research, and to use the in-house scientific expertise and facilities in the Department of Scientific Research at the British Museum to answer questions we had about how some of the goldwork from the Siberian Collection of Peter the Great was made.

This has led to yet further collaboration. In November 2019 the British Museum loaned its largest ever collection of monumental stone sculptures to the Hermitage for the special exhibition on *Assyria: I founded therein my royal palace*. We are employing scientific analyses on the whole of the Oxus Treasure in preparation for a new research publication which will include comparative discussion of pieces from the Siberian Collection of Peter the Great. We are each hosting visiting curators and scientists on other research projects ranging from food residues to Urartian metalwork and textiles. The British Museum Research Board allocated funding for a new series of radiocarbon dates on samples from old excavations at the site of Oglakhty in Khakassia in order to establish a new absolute chronology for the Tashtyk culture known from the Minusinsk Basin. The site itself is the focus of a new archaeological project from the State Hermitage Museum with invited participation from the British Museum. In return, colleagues from the Hermitage and

<sup>1</sup> British Museum archives / Department of the Middle East / Barnett papers.

<sup>2</sup> British Museum Report to Trustees 16 September 1960.





Fig. 1. Russian culture is welcomed in Britain: the British Museum Scythians: warriors of ancient Siberia attract attention at Waterloo railway station (copyright: The British Museum).

Pushkin Museum are invited to join British Museum staff on archaeological projects in Iraq. Together, we are also exploring further ways

in which we can work together to extend our support and research in Britain, Russia and the Middle East.

## References

1. **H.J. Plenderleith**  
In *Proc. III<sup>e</sup> Congrès Internationale d'Art et d'Archéologie iraniens, mémoires (Leningrad, septembre 1935)*, USSR, Moscou, Leningrad, Académie des sciences de l'URSS, 1939, pp. 156–160, LXI–LXVIII.
2. **A.U. Pope**  
*Bulletin of the American Institute for Persian Art and Archaeology*, 1935, 4(2), 59. ([www.jstor.org/stable/44240415](http://www.jstor.org/stable/44240415)).
3. **Y. Kadoi**  
In *The Reshaping of Persian Art: Art Histories of Islamic Iran and Beyond*, Eds I. Szántó, Y. Kadoi, Hungary, Piliscsaba, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2019, pp. 117–134. (<https://www.academia.edu/39768823>).
4. **D. Vasilyeva**  
*Soobshcheniya Gosudarstvennogo Ermitazha [Reports of the State Hermitage Museum]*, 2016, LXXIV, 150 (in Russian). (<https://www.academia.edu/29099149>).
5. **D. Vasilyeva**  
*Reports of the State Hermitage Museum*, 2017, LXXIV, 154. (<https://www.academia.edu/36935677>).
6. **D. Vasilyeva**  
In *The Reshaping of Persian Art: Art Histories of Islamic Iran and Beyond*, Eds I. Szántó, Y. Kadoi, Hungary, Piliscsaba, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2019, pp. 135–172. (<https://www.academia.edu/40422925>).
7. **R.D. Barnett**  
*Iraq*, 1950, 12(1), 1. DOI: 10.2307/4241700.



## Идентичность английских малых городов в Средние века и раннее Новое время



### Identity of Small Towns in Medieval and Early Modern England



*Анна Александровна Анисимова*  
старший научный сотрудник,  
Институт всеобщей истории РАН

*Anna A. Anisimova*  
Senior Researcher,  
Institute of World History, RAS

Городская идентичность является постоянно меняющимся и динамичным явлением и выражается не только во внешнем виде городов, но также проявляется в действиях их жителей. Для урбанизации в средневековой Англии было характерно преобладание малых городов, которые составляли 6/7 всех поселений. Хотя необходимо отметить, что концепт «малого города» является историографическим конструктом, неизвестным в период Средневековья и раннего Нового времени. Для данного периода под ним подразумеваются города с населением от 300 до 2 000 чел., хотя их объединяет не только размер населения, но и другие общие черты – более ограниченный социальный состав населения, тенденция к олигархии, меньшая концентрация ремесленников и др. Как правило, малые города были сеньориальными, что могло затруднить создание там самоуправляющейся городской общины. В данном докладе рассматривается создание идентичности малых сеньориальных городов на примере монастырских городов (то есть находящихся под властью монастырей), которые были весьма характерной чертой английской урбанизации.

Статус монастырских городов был нечетко определен в Средние века. Часто они не имели бургового (привилегированного городского) статуса и именовались «*villa*» в источниках. При том что в действительности они зачастую обладали чертами, характер-

ными для бургов. Представления о городской корпорации и ее признаках формировались на протяжении Средних веков. Первоначально они представляли собой так называемые бурговые привилегии, которые содержались в королевских грамотах, пожалованных в XII – XIII вв. К началу XIV в. из них сформировался концепт «свободного бурга» (*liber burgus*), который позднее трансформировался в понятие «городской корпорации». С середины XIV в. начался процесс инкорпорации городов, который стал всё более распространенным на протяжении XV века. Основные характеристики такой общины, по представлениям XV в., включали: право непрерывного правопреемства, право использования «общинной печати» для выражения воли общины, право подавать иск и привлекаться в качестве ответчика, право издавать местные законы и право совместно владеть собственностью. И хотя данный процесс в первую очередь затронул королевские города, данная концепция была известна и жителям монастырских городов. По крайней мере об этом свидетельствуют требования и претензии горожан (например, Сент-Олбанса в 1326 г., Рединг ок. 1500 г.).

Формирование городской общины могло принять разные формы. Среди монастырских городов можно увидеть примеры создания формализованной городской общины, имеющей свою собственную администрацию, соглашение с сеньором или хартию, за-

крепляющую ее положение (например, Фавершем, Фордвич, Стейнинг, Уитчёрч). Менее типично формирование общины в виде купеческой гильдии (Рединг). Наиболее распространенным же был вариант создания общины на основе религиозной гильдии – добровольного объединения горожан, первоначально возникшего для религиозных, благотворительных и социальных задач, которое в определенных условиях могло приобрести также экономические и политические функции (Абингдон, Вестмистер, Данстебл, Сент-Олбанс, Ромзи, Ройстон и др.). Наконец, община горожан могла носить неформализованный характер, а о ее существовании свидетельствовали совместные действия горожан, а также, в отдельных случаях, явная готовность к инкорпорации (Сент-Олбанс, Абингдон, Данстебл, Ромзи, Тэчэм).

Роспуск монастырей в 1536–1540 гг. в ходе Реформации позволил монастырским городам, наконец, выйти из-под власти своих сеньоров-монастырей, однако права их сеньоров перешли в королевскую руку и могли быть пожалованы любому лицу, так что данные города не получили автоматически самоуправления и признания их городских сообществ. Тем не менее ряд городов (Хемель Хемпстед, Рединг, Ромзи, Фавершем, Сент-Олбанс, Абингдон, Леоминстер) всё же воспользовался моментом, чтобы создать автономную городскую корпорацию, которая во многом завершила складывание и развитие городской общины в городах, находившихся на протяжении длительного времени под властью монастырей.

Возникновение новой городской идентичности в позднее Средневековье складывалось из определения или установления границ города, использования общих символов и создания корпоративных институций. Городские стены устанавливали границы городских общин, городские печати и монеты с городской иконографией были символической, которая обозначала правовую и экономическую независимость городских общин, а городские ратуши (холлы) были физическим олицетворением муниципального самоуправления. Все эти элементы представляли

собой разные ступени процесса институционализации и, взятые вместе, знаменуют появление специфической городской идентичности в позднее Средневековье.

Вне города отличались от сельских поселений и окружающей местности своей застройкой и топографией, хотя сравнительные исследования показывают, что в отношении последнего пункта противопоставление не всегда оправдано для малых городов. Как правило, они не имели стен и их пределы были отмечены шлагбаумами на дорогах, крестами и только в отдельных случаях палисадами или другими укреплениями. Но все эти обозначения не имели специфически городской привязки, хотя и отмечали важное разделение – границу между городом и его сельской округой. С формированием городских общностей у них появляются внешние атрибуты. Прежде всего городская общность нашла свое выражение в зданиях, которые ее символизировали. После процесса инкорпорации главным символом городской общины была ратуша (town hall), но и до этого в городе были постройки, которые имели похожие символические функции, например, Часовая башня (построенная горожанами в 1403–1422 гг.) в Сент-Олбансе, расположенная ровно напротив Восковых ворот монастыря. Кроме того, у религиозных братств были свои здания и благотворительные дома для бедных и нуждающихся; нередко горожане тратили много средств и усилий для перестройки и украшения местной приходской церкви или часовни.

Другим явным выражением общности были такие атрибуты, как печати должностных лиц и городской общины в целом, которые использовались для подтверждения документов, различные внешние атрибуты должностных лиц, например, жезл, который в 1408 г. был пожалован мэру Фавершема.

Еще одним способом заявить о существовании общности и одновременно закрепить существующее положение (привилегии), зафиксировать свой устав, списки членов общины, записать протоколы заседания городского совета или общности было создание специальных кодексов – регистров

или городских книг. Ярким примером такого производства является «Первая городская книга Фавершема», создание которой было начато во второй половине XIV века. Можно увидеть определенное сходство с монастырскими регистрами и разными коллекциями, которые были характерны для монастырей-сеньоров.

В то же время для них также весьма было характерно записать свои хроники и истории. Однако для позднесредневековых городов это не было типично. Анализ существующих городских хроник показывает, что они в основном представляли собой списки должностных лиц города, которые иногда сопровождалась записями отдельных событий истории страны. И хотя в XVI в. антиквары составили описания некоторых городов, ситуация значительно не изменилась. Данные сочинения не были попытками написать городскую историю. Значительные шаги в этом отношении были сделаны только в XVIII веке, когда были написаны и опубликованы многочисленные истории самых разных городов.

Если же обратиться к современному состоянию истории малых городов в Англии, то можно отметить большую значимость локальной истории. Это подтверждается наличием таких крупных проектов, как «Викторианская история графств Англии» (начатая

в 1899 г.) и «Всестороннее обследование городов» (с 1992 г.), и, что еще более показательное, огромным количеством местных исторических обществ. Согласно сайту «Журнала локальной истории», в Великобритании насчитывается порядка 654 обществ, занимающихся или имеющих отношение к изучению местной истории и имеющих свой сайт в Интернете. Многие из них также ведут активную публикационную деятельность. Степень организованности и разнообразие выполняемых функций разнятся. Например, в 1962 г. на волне борьбы за сохранение исторических зданий города возникло «Фавершемское общество», которое занимается сохранением местного наследия, организовало музей города и собственную исследовательскую группу.

Подобные инициативы могли принимать и менее четко организованные формы, как, например, проект «Средневековый Данстебл», который возник в 2010 г. в ознаменование 800-й годовщины приората Данстебла при поддержке Национальной лотереи для продвижения идеи важности данного города в Средние века и привлечения туристов для улучшения местной экономики. Можно провести параллели между формированием и существованием средневековых городских общностей и данными местными историческими сообществами.



## Cultural Cross-Dressings: *Treasure Island* and the Socialist Realist Canon



### Культурный «маскарад»: «Остров сокровищ» и социалистический реалистический канон



*Stephen Hutchings*  
Professor of Russian Studies,  
Manchester University

*Стивен Хатчингс*  
профессор русистики,  
Манчестерский университет

This paper compared a canonic British novel, RL Stevenson's *Treasure Island*, with its 1937 Soviet film musical adaptation, Vladimir Vainstok's *Ostrov sokrovishch* (fig. 1), in order to identify some key contradictions – ideological cross-dressings – within socialist realist aesthetics. In the 1930s the *ekranizatsiia* (film adaptation) genre fell under Stalin's shadow, and directors working within it needed to tame literary texts that resisted socialist realist rigidity. In negotiating this tension, they enter a secondary conflict between the universality of Stalinism's centralizing model and the recalcitrant particularity of the concrete images in which it is incarnated.



Fig. 1. Screen capture from Vladimir Vainstok's "Ostrov sokrovishch"<sup>1</sup>.

On the face of it, the screening of literary classics facilitated the grounding of socialist realism in an organic tradition based in the nineteenth century. Socialist realist film adaptations of non-socialist realist classics exploited their position of hindsight to project the ideologies of the present into the literary past and make the original appear retrospectively to depict reality in its revolutionary development. Thus, the choice of the popular musical form for *Treasure Island* denotes its membership of a Stalinist film category also including Aleksandrov's legendary *Volga, Volga* (1938) and *Tsirk* (1936), and asserting the Soviet Union's ideological victory over its class enemies. Rather than re-accommodating itself to its verbal original, the film celebrates its repackaging of Stevenson's novel via three provocative gestures: the rendering of an (albeit, already popular) English classic as mass culture; the transposition of the action of the novel to an eighteenth-century Irish rebellion against British imperial oppression; and the transformation of the male hero, Jim Hawkins, into a female, Jenny Hawkins.

However, tensions arise from the clash between socialist realism's collectivist principles and cinema's reliance on subjective identification mechanisms. Whilst films like *Treasure Island* replace highly personal

<sup>1</sup> The picture was provided by Professor Stephen Hutchings.

moments in their source texts with stock images of shared endeavour and joyful uniformity drawn from cinematic models, these images are themselves inflected with the affective perspectival devices upon which they rely in order to make their embodiments convincing. Emotional spontaneity – the principle socialist realism attempts to overcome – becomes the means by which socialist realist texts are given cinematic authenticity. Viewers are drawn into the network of individualizing perspectives only to become, along with the characters bearing them, the implied object of an ultimate viewpoint, that of the all-seeing, all-knowing leader (Stalin), whose sudden presence is imposed, unintegrated, on the masses which must, but cannot, become the subjects of all vision and all knowledge.

Furthermore, the foregrounding of the act of transformation of Jenny into Jim – Jenny is simultaneously the Stevenson character from the English novel and its bold Soviet feminized correction – institutes a complex play of difference and identity. It identifies as exotic “others» (Irish patriots) characters who, in their embrace of political freedom, resemble “our own” Soviet revolutionaries, and as familiar “selves” (the enemies of the people lurking in our midst) alien British officers (the film was made at the symbolic peak of Stalin’s terror). Each side of the self / other paradigm slides into its opposite, whether in positive or negative mode (Soviet self becomes British / Irish other; British / Irish other

becomes familiar Soviet self), demonstrating the arbitrariness of Stalinist discourse, its reliance on signs ever liable to invert their meanings.



Fig. 2. The final shot of the “*Ostrov Sokrovishch*”<sup>2</sup>.

The film’s last moments (*fig. 2*) depict the Irish revolutionaries shown at the beginning, galloping this time not along the seashore in flight from their British imperial oppressors, but in close, victorious formation across a bridge. The panoramic shot that eventually reduces them to outline figures serves a generalizing function (“these are not just Irish revolutionaries, but progressives the world over”), whilst the crossing of the bridge serves as the final transgressive gesture – the transformation of retreat into advance. That the screen then folds back into the pages of Stevenson’s classic represents a last ironic nod to the classical source which Vainshtok’s highly popular movie has so pointedly undermined, even while showing deference to it.

<sup>2</sup> The picture was provided by Professor Stephen Hutchings.



## Конструирование истории и истории литературы: музейный ресурс



### Constructing History and History of Literature: Museum as a Resource



*Дмитрий Петрович Бак*  
директор Государственного музея истории  
русской литературы имени В. И. Даля

*Dmitry P. Bak*  
Director of Vladimir Dahl Russian State Literary  
Museum

Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля – крупнейший литературный музей России. В его состав входят более десяти домов-музеев и музеев-квартир известных русских писателей – М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына и др. Музей обладает крупнейшей в стране коллекцией реликвий, связанных с жизнью и работой русских писателей. Всего в ней насчитывается более полумиллиона предметов.

Сегодня в России работают более 400 литературных музеев, и этот факт легко объясним. Как известно, начиная с середины XIX века российская культура отличается так называемым литературоцентризмом. Это понятие означает, что литература как особый род социальной практики вбирает в себя функции смежных форм социальной активности: публичной политики, религиозных дискуссий, экономики, социологии, существование которых в условиях абсолютной монархии было затруднительным либо вовсе невозможным. Первые литературные музеи были созданы на рубеже XIX и XX столетий, среди них музеи Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Тютчева, Толстого и других. Вторая волна создания музеев русских писателей – явление начала советской эпохи, в основном 1920-х годов. Именно в 1921 году был создан Московский государственный

музей имени А.П. Чехова, самое почтенное по своему возрасту подразделение ГМИРЛИ имени В.И. Даля, который в 2021 году отметит свое столетие.

Создание музеев во многом было реализацией так называемого ленинского «плана монументальной пропаганды», согласно которому государственная политика была направлена на то, чтобы подчеркнуть особую роль тех деятелей культуры прошлого и настоящего, которые были причастны к «освободительному движению», революциям и т. д. (рис. 1). Среди них, разумеется, оказались Радищев, Герцен, Чернышевский и другие. По сути дела речь шла о переписывании мировой истории, которая обрела особую марксистскую телеологию, исходящую из так называемого «материалистического понимания истории». «Революционное» акцентировалось, «консервативное» отодвигалось на задний план.

Наряду с «гражданской», государственной историей переписывалась и история литературы, в том смысле, что литературные репутации разных писателей подвергались марксистской, материалистической коррекции. Так, Толстой стал «зеркалом русской революции», борцом с церковью, а его религиозные искания ушли в тень. В Некрасове акцентировалась роль «народного заступника» и замалчивалась деятельность в качестве литературного коммерсанта, крупного издателя. Особенно показательна трансфор-

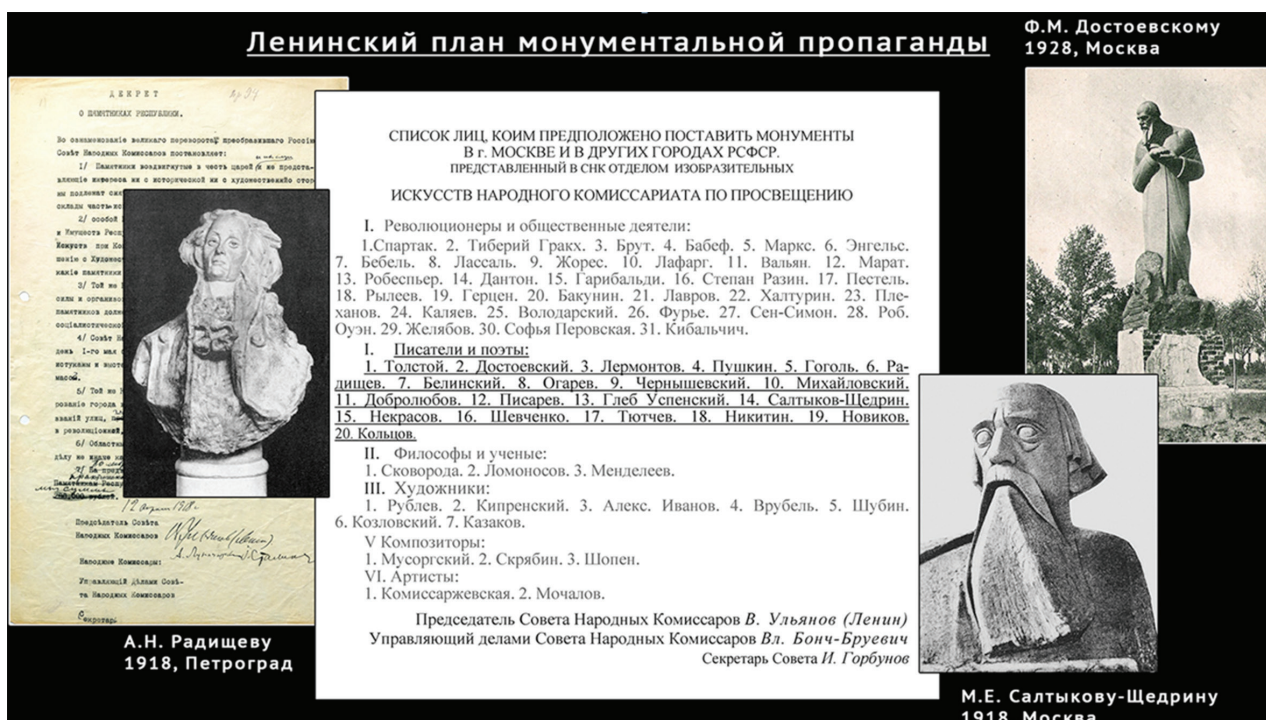


Рис. 1. Ленинский план монументальной пропаганды.

мация литературной репутации Максима Горького. Он закрепился в общественном сознании как создатель социалистического реализма, автор романа «Мать», основатель Союза писателей, соратник Ленина и т. д. Его причастность к нищестроительству, его оппонирование Ленину, многолетняя эмиграция, авторство цикла статей «Несвоевременные мысли» – всё это почти или полностью не упоминалось.

Следует заметить, что «литературная репутация» – историко-литературный термин, впервые предложенный И.Н. Розановым. Именно на основании динамики литературных репутаций, переосмысления роли разных писателей в общей литературной иерархии той или иной эпохи выстраивается «история литературы» в строгом смысле этого термина. История литературы, подобно истории как таковой, есть составляющая разных языков описания, дискурсов, подлежит анализу с точки зрения процессов складывания разных ее версий. Современная наука (исследования Я. Ассманна и А. Ассманн, Р. Лейбова, А. Вдовина) приводит к выводу о существовании различных, часто параллельных алгоритмов формирования историко-литературных представлений.

Данные алгоритмы действуют на основе «канонизации» либо «деканонизации» тех или иных литературных репутаций, что в свою очередь оказывает влияние на конкретные литературные иерархии разных эпох. Среди алгоритмов литературной канонизации можно отметить следующее:

- интерпретационная деятельность литературной критики;
- издательские стратегии;
- приобщение к государственной идеологии;
- включение в школьную программу.

К этому же ряду алгоритмов принадлежит и музеефикация. Создание музея конкретного писателя есть признание его особой роли в развитии литературы. Именно поэтому в советское время были созданы музеи Чернышевского и Добролюбова, Горького и Алексея Толстого. По тем же причинам не могло быть и речи о музеях В. Жуковского или А. Григорьева.

В течение XX века, большая часть которого в истории России пришлось на советский период, особое значение имеет, как это видно из темы моего выступления, соотношение дискурсов истории как таковой и истории литературы. Первое оказывает



непосредственное влияние на второе и наоборот. Именно идея воссоздания музейными средствами истории литературы была положена в основу разных концепций «главного», «центрального» литературного музея страны.

Так, основатель Музея-квартиры Ф.М. Достоевского, ныне входящей в состав ГМИРЛИ имени В.И. Даля, В.С. Нечаева писала: «До последнего времени распространены были музеи, построенные по принципу историко-культурных монографий («жизнь и творчество писателя»). <...> Главным недостатком таких музеев является отсутствие руководящей цели, для которой подбирается весь этот пестрый материал, в лучшем случае иллюстрирующий творчество писателя, но никак его не объясняющий. <...> Перестройка литературных музеев едва начата, для ее успешного продвижения следует перейти к созданию музея литературы, отражающего ход развития исторического процесса в России» [1, с. 524].

К.В. Виноградова, основатель дружного старейшего отдела ГМИРЛИ имени В.И. Даля – Музея А.П. Чехова, отметила, что «...на Государственный Литературный музей возложена задача в сравнительно короткий срок создать в Москве Музей русской литературы, в котором бы нашла свое отражение вся история ее развития, от возникновения до наших дней. “Такого музея еще не было в Советском Союзе, как нет его ни в одной стране мира”, – писали газеты. <...> В настоящее<sup>1</sup> время музей вплотную приступил к подготовке экспозиции по истории русской литературы с древнейших времен до нашей современности. Однако отсутствие помещения лишает его возможности развернуть эту экспозицию в полном объеме» [2, с. 74–75].

Из этой же мысли исходил и партийный государственный деятель, соратник Ленина В.Д. Бонч-Бруевич, который в 1933 году основал Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики, через год преобразованный в Государственный литературный музей. В основу кон-

цепции флагманского литературного музея была положена магистральная идея воссоздания средствами музейной экспозиции и музейной науки истории развития российской словесности на протяжении нескольких столетий.

Особенную актуальность эта задача приобрела в постсоветское время, когда со всей очевидностью стало ясно, что мы до сих пор не имеем непротиворечивого научного описания истории российской литературы советского времени. Данное утверждение может быть проиллюстрировано не только уже упоминавшимся фактом своеобразного переписывания литературной истории, которое имело место в 1920-е годы. Дело в том, что в период так называемой «перестройки» произошло еще одно переписывание истории, то есть, по сути дела, конструирование новой версии истории отечественной литературы. Если в советское время предпочтительные места в литературной иерархии занимали определенным путем преобразованные литературные репутации Горького и Маяковского, А. Толстого и Шолохова, Фурманова и Фадеева, то во второй половине 1980-х годов им на смену в качестве писателей первого ряда пришли Булгаков и Платонов, Бабель и Зощенко, Пастернак и Мандельштам и другие. Связная непротиворечивая русская литература XX века может быть создана только в том случае, если в ней найдется место, условно говоря, роману Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Лолите» Набокова. Воссоздание этой синтетической и «когерентной» истории литературы возможно осуществить музейными методами.

Именно в этом русле выстроена работа ГМИРЛИ имени В.И. Даля в последние годы. Многие научно-выставочные проекты музея носят исследовательский характер, то есть призваны не воссоздать средствами музейной экспозиции заранее известные реалии того или иного периода истории литературы, а вновь создать, сконструировать ту версию истории литературы, которая прежде не существовала. К таким проектам могут быть

<sup>1</sup> Написано в 1961 г. – Д.Б.

причислены выставки «Россия читающая» (история феномена чтения в разные эпохи), «Квартирный вопрос» (судьбы русских писателей в 1920–30-е годы)<sup>2</sup>. В широком смысле слова, музейный ресурс для создания новой версии истории литературы актуален и для конструирования истории как таковой, особенно если речь идет о так называемой оспариваемой истории (*contested history*), затрагивающей спорные исторические факты, вызывающие в наши дни различные, иногда

диаметрально противоположные трактовки и интерпретации.

Таким образом, в современных условиях литературный музей как культурное и научное учреждение приобретает новые функции, становится не только местом реализации социальных практик, выставочных, образовательных, просветительских, рекреационных, но и площадкой развития исследовательских риторик и концепций, имеющих большое значение для исторической науки.

## Литература

1. **В.С. Нечаева**

*Музеи литературные* В Литературная энциклопедия, в 11 тт., т. 7, под ред. А.В. Луначарского, СССР, Москва, ОГИЗ РСФСР, Изд. Советская Энциклопедия, 1934, 888 с.

2. **К.М. Виноградова**

*Вопросы работы музеев литературного профиля*, ред.-сост. Н.П. Лощинин, СССР, Москва, Изд. НИИ музеевед., 1961, 219 с.

<sup>2</sup> Среди героев выставки принципиально присутствуют и литераторы советского официоза (А.В. Луначарский, В.Д. Бонч-Бруевич), и эмигранты (А.Н. Вертинский, А.М. Ремизов и др.), и жертвы режима (О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева и др.).



## Tolstoy and Tolstoyans in Britain and Russia

### Толстой и толстовцы в Британии и России



*Charlotte Alston*

*Professor in History, Research Lead for History,  
Northumbria University*

*Шарлотта Алстон*

*профессор истории, ведущий научный  
сотрудник по истории,  
Нортумбрийский университет*

Lev Tolstoy developed his Christian anarchist moral philosophy in a body of work – books, pamphlets, short stories and a novel – that he produced between 1880 and his death in 1910. This philosophy was broad-ranging – it took in vegetarianism, temperance, chastity, condemnation of private property and money, and living by one’s own physical labour: but at its foundation was the principle of absolute non-resistance to evil by violence. While Tolstoy’s contemporaries in the literary world were (on the whole) horrified at his turn away from literature, his later writings had a remarkable impact on groups and individuals who were disillusioned with modern industrial society and with the politics of the time. In Russia a vigorous Tolstoyan movement emerged during the 1880s, with colonies in the provinces of Smolensk, Tver, Samara, Kursk, Perm and Kiev, and with the publishing house *Posrednik* and later the Moscow vegetarian society as centres of activity. In the rest of Europe and in the USA, Tolstoyism gained dramatically in influence a decade later, in the 1890s. This presentation for the AHRC – RFBR workshop on “British and Russian Identities and Cultures in a Comparative and Cross-Cultural Perspective” explored the activities, networks and influence of Tolstoy’s followers in Britain in the 1890s and 1900s. There were collectives or enterprises run by Tolstoyans in Croydon, Essex, Derby, Manchester, Blackburn, and smaller groups elsewhere too. Studying these groups helps us to understand the different reformist contexts into which Tolstoy’s ideas fit, and the diverse ways in which they were interpreted, as

well as the international connections that helped Tolstoyans to build a sense of momentum in their movement.

The remarkable increase in overseas engagement with Tolstoy’s Christian anarchism is apparent in the volume and content of letters received by Tolstoy from correspondents across Europe and the United States from the 1890s onwards. While it is possible to read everything that Tolstoy wrote to his correspondents in the 90 volume edition of his collected works, the letters written to him, which contain details of enterprises set up, publications produced, and conundrums faced by Tolstoyans internationally are all held in the archives of the Tolstoy Museum in Moscow. Tolstoy himself played an important role in the establishment of international Tolstoyan networks (however much he disliked the idea of a movement that followed him). He put sympathisers who wrote to him in touch with their nearest local centre of activity, and put these centres in touch with each other, supplying addresses and recommending newspapers and literature. Through the exchange of literature, correspondence and occasionally visits, these networks came to operate under their own steam (*fig. 1*). Newspapers played an important role in this, printing readers’ letters and running columns on sympathetic international enterprises, whether in the Netherlands, Hungary, or the USA. Accounts of Tolstoyan conversion or enlightenment, or exemplars such as the refusal of military service, were printed in Tolstoyan newspapers in multiple countries and languages.

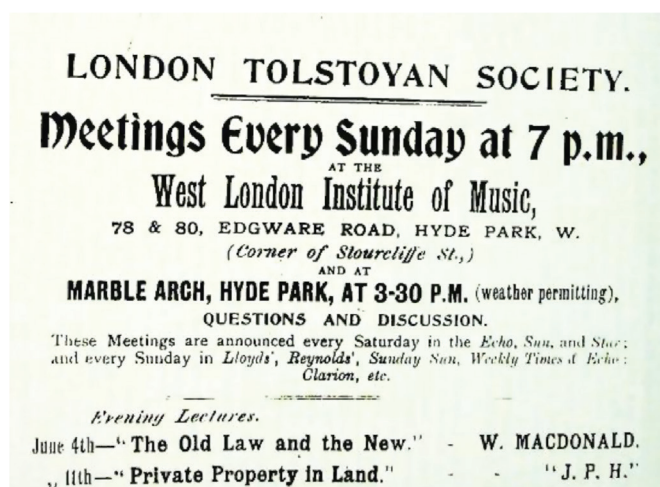


Fig. 1. Pamphlet advertising meetings of the London Tolstoyan Society.

Tolstoyans in Britain were rapidly in touch with their counterparts in Russia. Inspired by Tolstoy's warm reception of his letters and his own writings, the leading British Tolstoyan John Kenworthy embarked on a trip to Russia in 1896 during which he met a number of Russian Tolstoyans, including Vladimir Chertkov, Evgenii Popov, and Ivan Gorbunov-Posadov. A return visit to Britain by Gorbunov-Posadov later that year cemented the relationship: they were in frequent contact by mail also about publishing matters. While Britain was already a dynamic centre for Tolstoyism, its place at the centre of the international movement was cemented by the exile to England of Vladimir Chertkov in 1897 (for his work on behalf of the persecuted Doukhobors). Chertkov was joined over the next year or so by other leading and low-level Russian Tolstoyans, briefly or more permanently, at the "Russian colony" he established alongside the English Tolstoyan colony at Purleigh. The presence of the Russians, British freedom in publishing and politics, and the relocation to England of the campaign for the Doukhobors – including fundraising and logistics for the emigration of members of the sect – all combined to create a truly international centre for Tolstoyism that included also Slovak, Dutch and American Tolstoyans in Britain. Chertkov's position as Tolstoy's closest associate and now his principal representative in England – a position he guarded jealously – put him at the centre of this movement. British Tolstoyans sought his presence at their meetings, and his clarification

of what Tolstoy's views, and his own, might be on a range of subjects – the use of money, diet, and the "sex question". Chertkov's closeness to Tolstoy and his own commanding personality drew numerous sympathetic individuals into his service, working on translation, editing or printing for his publishing projects. Tolstoy's English adherents did not always submit to Chertkov's point of view however: they upbraided him on occasion for refusing to engage with criticisms of Tolstoy, or for endorsing Tolstoy in argument without explaining why he, himself, agreed with Tolstoy's position.

The central tenet of the Tolstoyan worldview was the belief in absolute non-resistance to evil. Tolstoyans struggled sincerely with this issue, debated it on the fringes and outside their movement, and faced in head on, sometimes in mundane aspects of everyday life, in social interaction and in commercial transactions. While Tolstoyans interacted with (for example) dress reformers, vegetarians, and anti-vivisectionists, they were prevented from cooperating fully with any of these other reformist organisations by their commitment to non-resistance. Their refusal to participate in political, governmental or legal processes divided them from anti-vivisectionists because they could not condone legislative solutions, and from pacifists because they saw no use in arbitration or lobbying for disarmament. It divided them from members of the socialist and even the cooperative movement, because they disapproved of organization or political representation. In 1900, when Percy Redfern established the Manchester Tolstoy Society, he explained the rationale as follows. "Now I can temporarily associate with different groups – vegetarians, socialists, land reformers, 'rationalists', theosophists, Wesleyans, and so forth. If I had some definite bias towards any particular material reform that might content me. But I want to face life as a whole... Hence a Tolstoy society". This perception of Tolstoyism as a complete world view, underpinned by the principle of non-resistance, informed many Tolstoyan conversion accounts. Tolstoy answered the contradiction that many of his readers, whether businessmen, aristocrats, shopkeepers, soldiers or active members of the

socialist movement felt in their lives. He asked them to be honest with themselves and with others: to follow their own conscience and reason, and not to carry on behaving in the ways that conventional society demanded. He did not allow for any compromise between their ideals and their actions; he resolved all doubts.

Clearly there were tensions between the imperative not to compromise, and the desire both to spread the word and to make Tolstoyan enterprises a success that would inspire further recruits. Their principles could pose a threat to their practices, and their practices could pose a threat to their principles. Tolstoyan publishing houses were a case in point. *Posrednik*, the principle Tolstoyan publishing house in Russia, benefitted enormously from the trade connections and networks of Ivan Sytin, a commercial publisher who distributed books in the countryside. Sytin welcomed the opportunity to apply his business expertise to a project that he considered had moral worth, but never entirely distanced himself from his commercial operations, some of which involved the publication of precisely the kind of material the Tolstoyans sought to combat. *Posrednik* eventually dispensed with Sytin's services, and the quality of their publications and distribution suffered as a result. Likewise, Arthur Fifield, the manager of the English Tolstoyan publishing house the Free Age Press, sought to steer a course between managing an ethical business, and managing a successful business. He knew that opposition to all copyright was the Tolstoyan ideal, "just as giving the books away without any charge is the ideal, getting the paper made for nothing, composing, printing, binding, distributing and living without financial relations are also the ideal". But the general consciousness had not yet reached the point where it was impossible to impose one's will on editors, translators or booksellers, without a negative impact both on the effective spread of the ideas.

Likewise, the Tolstoyans who established communal agricultural enterprises faced challenges to their principles, and challenges to putting them into practice. Some hard workers resented others who they felt were doing less



Fig. 2. Florence Holah's copy of the Russian Tolstoyan periodical "Istinnaya Svoboda", 1920.

to get their enterprises onto a self-sufficient footing. But the question of organization was fundamentally problematic. Was it possible to work hard and organize and still live the "right life" spiritually? Self-sufficiency required organization. A commitment to complete non-resistance required that there be no organization. Tolstoyan colonists either entered into communal projects with little clarity about how the society they wished to create ought to operate, or they worked this out in detail but thereby compromised the ideal.

During the war and revolution, Tolstoyism experienced a revival in Russia. The war brought new converts, and provided a fresh focus for existing Tolstoyans. In the 1920s there were at least 23 different Tolstoyan communities across Soviet Russia, in locations including Smolensk, Vladimir and Tula. In Britain there was little trace of an organized Tolstoyan movement by the 1920s. A group of Tolstoyans in Leeds provided a safehouse for conscientious objectors who had not been granted exemption, and published many anti-war pamphlets. Several former Tolstoyans were prosecuted for publishing radical pacifist literature during the war. Florence Holah received copies of the new Russian Tolstoyan periodicals that were published during the revolutionary years (fig. 2), but this is a rare example of international connections between Tolstoyan groups and individuals by this time. In the 1970s, the memoirs of Russian Tolstoyans of this period were collected and recorded.

Boris Mazurin, speaking about the Life and Labour Commune in Siberia, asked rhetorically “Did those of us who gathered together in the commune do justice to the name of Leo Tolstoy, with whose noble ideas we united our lives? Did we achieve in our lives the heights and fullness of the teaching we had accepted? No, of course not”. But, “Did we strive to achieve it? Yes we

did! Our aspirations were ardent, powerful, sincere, honest and bold”. And in that respect, with Tolstoyans of the 1890s who sought to put Tolstoy’s beliefs into practice through communal living, through their vegetarianism, through opposition to the state, to the use of money, to marriage, and of course through opposition to war, they had much in common.

## КРАТКИЙ ФОТООТЧЕТ О ВСТРЕЧАХ РФФИ – ИСИГН BRIEF PHOTO REPORT ON THE RFBR – AHRC MEETINGS



*Круглый стол «Россия и Британия в сравнительной перспективе, 1800–2000 года»,  
14–15 марта 2019 г., Москва*



*Выступление академика А.В. Торкунова, ректора  
Московского государственного института  
международных отношений (университета)  
МИД России*







*Профессор С. Диксон, заведующий кафедрой российской истории имени сэра Бернарда Пареса, Школа славянских и восточноевропейских исследований, Университетский колледж Лондона*



*Доклад делает Д. Олдфилд, лектор Школы географии, наук о Земле и окружающей среде Бирмингемского университета; сфера научных интересов – изучение окружающей среды в России*



*С. Стоквелл, профессор истории Империи и Содружества, исторический факультет, Королевский колледж Лондона*





*Участники Круглого стола в Москве*



*Визит сотрудников Исследовательского совета Великобритании по искусству и гуманитарным наукам в Российский фонд фундаментальных исследований, март 2019 г.*







*Участники семинара в Лондоне*



**«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ФОНДА  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
№ 1 (105) январь-март 2020 года**

Подписано в печать 30.03.2020. Тираж 300 экз.

Отпечатано в обществе с ограниченной ответственностью «Тамбовский полиграфический союз»  
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14А  
Тел. 8(4752) 53-26-27  
E-mail: [info@tps68.ru](mailto:info@tps68.ru)  
[www.tps68.ru](http://www.tps68.ru)